



Рождественский подарок

Коллектив авторов

**Серебряная метель.
Большая книга
рождественских произведений**

«Никея»

2018

УДК 82-82
ББК 84(0)

Коллектив авторов

Серебряная метель. Большая книга рождественских произведений
/ Коллектив авторов — «Никея», 2018 — (Рождественский
подарок)

ISBN 978-5-91761-774-9

В этой красивой книге собраны повести, стихи и рассказы русских и зарубежных писателей и поэтов о празднике Рождества Христова. Чтение духовной классики, размышление о ней, обсуждение прочитанного в семье и с близкими достойно заполнит святые рождественские вечера, создаст и поддержит праздничное настроение, укрепит чувство семейного очага. А это такие прекрасные сердечные чувства, что ими приятно поделиться, ведь эта книга действительно хороший подарок.

УДК 82-82
ББК 84(0)

ISBN 978-5-91761-774-9

© Коллектив авторов, 2018
© Никея, 2018

Содержание

От издательства	6
Василий Никифоров-Волгин (1901–1941)	8
Леонид Андреев (1871–1919)	11
Генрих Гейне	19
Александр Федоров-Давыдов (1875–1936)	21
Морис Карем (1899–1978)	24
Анатоль Франс (1844–1924)	27
Изабелла Гриневская (1854–1942)	30
Зинаида Гиппиус	31
Николай Телешов (1867–1957)	33
Николай Заболоцкий	39
Саша Чёрный	41
Николай Вагнер (1829–1907)	42
Алексей Хомяков	50
Петр Ершов	51
Федор Достоевский (1821–1881)	54
I	54
II	55
Федор Достоевский	58
Евгений Поселянин (1870–1931)	60
Теофиль Готье	64
Семен Киснемский	65
Братья Гримм	66
Максимилиан Волошин	69
Николай Лесков (1831–1895)	74
Глава первая	74
Глава вторая	75
Глава третья	76
Глава четвертая	77
Глава пятая	78
Глава шестая	79
Глава седьмая	80
Глава восьмая	81
К. Р	82
Сельма Оттилия Лувиса Лагерлёф (1858–1940)	84
Сергей Есенин	87
Антон Чехов	91
Ванька	91
Мальчики	94
Вильгельм Кюхельбекер	98
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Серебряная метель Большая книга рождественских произведений

© Издательский дом «Никея», 2015

© ООО ТД «Никея», 2018

* * *

От издательства

В этой красивой книге собраны повести, стихи и рассказы русских и зарубежных писателей и поэтов о празднике Рождества Христова.

Родоначальником жанра рождественского рассказа считается Диккенс: «Рождественская песнь в прозе» вышла в Англии к Рождеству 1843 года и была настолько популярна в Европе и России, что породила череду подражаний. Русские писатели живо восприняли опыт Диккенса, ведь культура России – часть христианской цивилизации. Рождественский, или святочный, рассказ стал заметным явлением русской литературной и даже общественной жизни.

Достоевский писал, что Рождество, пожалуй, самый «детский» из всех христианских праздников, потому что Спаситель пришел в мир Младенцем: не в царских одеждах и не в сиянии славы, а смиренно и кротко появился Он на свет. Младенец Иисус, рожденный в пещере и положенный в кормушку для скота, воспринимался как защитник всех обездоленных, бедняков и, в первую очередь, детей. Потому так много рождественских рассказов посвящено детям.

В стремлении порадовать и осчастливить ребенка в праздник Рождества литературные герои и сами преображаются, мечтая о доброй и радостной жизни, о милосердном отношении друг к другу. Такие рассказы могут поселить в домах читателей праздничную атмосферу, отвлечь от житейских забот, напомнить о помощи страждущим.

Рождественские праздники становятся, по выражению Достоевского, «днями семейного сбора», днями милосердия, примирения и всеобщей любви. О «чувстве домашнего очага», которое дарит праздник Рождества Христова, вспоминал и Александр Блок.

Традиционный европейский рождественский рассказ имеет светлый и радостный финал, добро неизменно торжествует над злом, благодаря вмешательству чудесных сил. В русской литературной традиции центральное место заняли переживания героя и чудо его внутреннего преображения. Русские писатели затрагивают множество социальных проблем и порой неожиданных для Рождества тем, как например, в рассказе Николая Вагнера «Новый год». Душевный порыв и попытку героя стать лучше, добрее, проявить братскую любовь к нищему очень тонко и иронично изобразил писатель Лазарь Кармен в рассказе «Под Рождество».

Часто рождественские рассказы не заканчиваются с финальной точкой, и многое из жизни героев остается «за кадром». Это превращает читателя в соавтора произведения и заставляет его размышлять: а что же дальше? – как например, в рассказе Чехова «Ванька».

Праздничное рождественское застолье, даже самое скромное, привлекает внимание писателей возможностью раскрыть смыслы куда более важные и глубокие, чем гастрономические, как например, в рассказах «Рождество на Соловках» Бориса Ширяева (о праздновании Рождества заключенными ГУЛАГа), «Рождество в Москве» Ивана Шмелева (о тоске в эмиграции по утраченной родине) или «Портвейн в бурю» Джорджа Макдоналда (о тихом рождественском вечере с бесценными семейными воспоминаниями).

Литература не забывала и о главном, духовном смысле праздника Рождества Христова:

Приклонил небеса и сошел к нам Всевышний.
Приклонивши колена, поднимемся на высоту.
Соединим три в одно – ум, душу и сердце —
И прославим Единородное Слово,
ставшее ради нас плотью.

Чтение духовной классики, размышление о ней, обсуждение прочитанного в семье и с близкими достойно заполнит святые рождественские вечера. Уютно в теплом доме читать рассказы о Рождестве, которое, по воспоминаниям Никифорова-Волгина, «обдаёт тебя снежной

пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всенощной „Христос рождается, славите“ и снится по ночам в виде веселой серебряной метели».

Василий Никифоров-Волгин (1901–1941)

Серебряная метель

До Рождества без малого месяц, но оно уже обдаёт тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поёт в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде веселой серебряной метели.

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:

– Если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать!

«Ничего, – подумал я, – посмотрим... Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я ее на пятерку исправлю... За арифметику как пить дать влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, – ее тоже на пятерку исправлю...»

Когда все это я сообразил, то сказал родителям:

– Баллы у меня будут как первый сорт!

С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:

– Ты слышишь, как пахнет Рождеством?

– Пока нет, но скоро услышу!

– Когда же?

– А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить начнет, тогда и услышу!

Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.

– Ты чего губы надул? – спросил Гришка.

Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:

– Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?

– А чем же?

На это я ничего не смог ответить, покраснел и еще пуще рассердился.

Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арифметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арифметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом.

Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампы перед иконами и впустят Его...

Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: необыкновенный снег... как бы святой! Ветер, шумящий в березах, – тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те... По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и как чудной чему-то улыбался.

Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово – «Рождество». Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали

в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шулды-булды»; перебрался через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого – одна заметь да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку... Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче: «Дева днесь Пресущественного рождает», и вместо «волсви же со звездю путешествуют» пропел: «волки со звездю путешествуют». Отец, послушав мое пение, сказал:

– Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездю путешествовали?

Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях: «Наверное, шел тогда снег и маленькому Иисусу было даже холодно!»

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.

– Ты что заканючил? – спросили меня с беспокойством.

– Ничего. Пальцы я отморозил.

– И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олетьявал в такую зябь!

И вот наступил наконец рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал Рождественскую звезду и, к великой своей обрадованности, нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями. Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, – отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал великое повечерие. Голос у Силантия сиплый и пришепетывающий, в другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо:

– Я видел на небе Рождественскую звезду... Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробурчал:

– Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Ее завсегда видать можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок.

Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

– После службы и от меня получишь!

Читал Силантий долго-долго... Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью воскликнул:

– «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!»

Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор:

– «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!»

Батюшка в белой ризе открыл Царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.

– «Услышите до последних земли, яко с нами Бог! – гремел хор всеми лучшими в городе голосами. – Могуции, покоряйтесь: яко с нами Бог... Живущии во стране и сени смертней, свет возсияет на вы: яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам: яко с нами Бог... И мира Его несть предела: яко с нами Бог!»

Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские врата и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.

После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».

После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолесток мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились:

– Христос был хороший человек!

Сели мы с Уркой под елку, на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, все они пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

1937

Леонид Андреев (1871–1919)

Ангелочек

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему показалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», – и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

– Где полуночничаете, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

– Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыхание отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

– Врешь? – спросил с недоверием Сашка.

– Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

– Врешь? – все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.

– Ах, Сашка, Сашка! – поежился от холода отец. – Не сносить тебе головы.

– А ты-то сноси! – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съездившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики. Через час мать говорила Сашке:

– А я тебе говорю, что ты пойдешь! – И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

– Изобью я тебя, ох как изобью! – кричала мать.

– Что же, избей!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегала к авторитету мужа.

– А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

– Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? – отозвался тот с лежанки. – Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

– Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, – продолжал отец.

Он хитрил – Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

– Ну, ладно! – буркнул он. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

– Ты неблагодачный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне мисс сказала. А я холосой.

– Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

– Хочешь лузье? На! – протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

– Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

– Вот этот, – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.

– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.

– Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

– Но едва ли вакансия найдется, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и поглаживая поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе под-

ражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери и чей-то голос сказал:

– Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, непередаваемого словами, неопределяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

– Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

– Милый... милый! – шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

– Тетя, а тетя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. – Те... Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

– Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо.

– Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки – ангелочка.

– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марией Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

– Дай ангелочка.

– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

– Да ты с ума сошел! – воскликнула седая дама и оглянулась; по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

– Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие

на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», – думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с ним делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

– Ну, на уж, на, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

– А-ах! – пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, – и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.

III

Мать спала, обессилив от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

– Хорош? – спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться.

– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

– Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.

– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша настойчиво шептал:

– Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокоей борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, непередаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была ее душа, и внес луч света в сырую,

пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека – сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезало настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким Божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознательным движением положил руки на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

– Это она тебе дала? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь:

– А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спросил отец.

– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, скovyрнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?

– Ну, что еще? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.

– Не буду... не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя сброшенное на ноги пальто.

– Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, что точно шел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала

печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

1899

Генрих Гейне (1797–1856)

Божья елка

Ярко звездными лучами
Блещет неба синева.
– Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?

Словно елка в горном мире
В эту полночь зажжена
И алмазными огнями,
И сиянием звезд лучистых
Вся украшена она?

– Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.

Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святыя —
Для людей – благоволение,
Мир и правда – для земли.

«Три светлых царя из восточной страны...»

Три светлых царя из восточной страны
Стучались у всяких домишек,
Справлялись: как пройти в Вифлеем?
У девочек всех, у мальчишек.

Ни старый, ни малый не мог рассказать,
Цари прошли все страны;
Любовным лучом золотая звезда
В пути разгоняла туманы.

Над домом Иосифа встала звезда,
Они туда постучали;
Мычал бычок, кричало дитя,
Три светлых царя распевали.

*Перевод Александра Блока
1909*

Александр Федоров-Давыдов (1875–1936)

Хаврошина елка *Святочный рассказ*

1

На самом краю деревни Деурина стояла избенка солдатской вдовы Арины Паниной. Незадолго до Рождества, этак дней за пять, приехала к Арине из Питера старшая сестра Варвара, с которой она лет десять не видалась.

Обрадовалась сестре Арина, расцеловались сестры, и пошли у них разговоры без конца.

Служила Варвара десять лет в няньках у богатых господ; а как барчата их подросли, она и отошла от места. Жила Варвара у господ, как сыр в масле каталась: еда хорошая, на праздники подарки дарят: либо шубенку, либо платье, либо деньгами. Всего было!.. Вон два сундука всяким добром набиты, да триста рублей у нее на хранении лежат... Вот поживет тетка Варвара у сестрицы, в монастырь деньги внесет, и дадут ей келейку, чтобы дожить ей тихо, мирно и беспечно...

И видит Арина – сидит перед ней Варвара барыня-барыней: платье шерстяное, шубка на лисьем меху, платок ковровый на плечи накинута; лицо у нее белое, полное, руки холеные. А посмотрела Арина вокруг себя – и сердце у нее от боли заныло: всюду-то беднота, нужда горькая да голод!..

2

А вечером, после ужина, и стала тетка Варвара про житье-бытье городское рассказывать. Чисто мед с молоком слова у нее текли. Хавроша, дочь Арины, и про сон забыла – наострила уши, слово боится пропустить...

Арина слушала молча, и все ее досада да зависть разбирали. Уж больно им-то с Хаврошей тяжело жилось! И одеться не во что, и иной раз хлеба перекусить не приходится...

– Вот, – рассказывала тетка Варвара, – сейчас Рождество наступает. И пойдет по всему городу веселье, пляс – сердце радуется. А для ребят елки там устраивают!..

И пошла Варвара рассказывать, как купят господ елку, обрядят ее конфетками, пряниками, игрушками разными, яблоками да орехами – и детям ее подарят. А дети свечи на ней зажгут и давай вокруг елки плясать да сласти рвать.

Словно зачарованная слушала Хавроша тетку Варвару. А Арина и говорит:

– То-то деньги у господ без глаз: куда не швыряют!

Тетка Варвара даже обиделась за господ:

– Что ж, сестрица, – не всем же по-свински жить, вроде вас!.. Тоже и себя, и детей потешить охота!.. А что деньги зря бросают, это точно... Вон наемные елку пошли покупать – приступить к елкам нет: либо три рубля, либо пять, а то и десять рублей отдают... Вот что!..

– Десять целковых?.. – Арину даже в жар бросило. – На десять-то целковых мы бы полгода беспечно жить могли.

Хавроша так и заснула в радужных мечтах. А на утро Арина и сказала Хавроше:

– Сходи, доченька, на село, к учительше Клавдии Васильевне: поклонись от меня, скажи, разнедужилась-де я вовсе, не даст ли мучки с четвертку, да масла, да полтинник – праздник

встретить. Скажи, у сестры просила – и слышать не хочет: какие, говорит, у меня деньги?.. Да ты, Хавроша, у учительши и переночуй, а ночью не ходи...

Живо собралась Хавроша: материнскую кацавейку надела, платком обмоталась, валенки обула. Потом под лавку сунулась и отцовский топор разыскала... Заткнула его за платок назади и пошла в путь-дорогу... Хавроша-то себе на уме... Недаром она с вечера тетчины рассказы слушала...

3

Лютый мороз трещит на дворе. Солнышко, все укутанное мглой, стоит на небе красное, словно сердится на кого!..

Идет Хавроша – скорым-скоро; «хруп-хруп» – похрупывает мерзлый снег под валенками, а думы Хаврошины так сами на крыльях ее и несут. Вышла за околицу, спустилась к реке тихо-тихо, кругом мертво...

Беги, Хавроша, беги, касатка, не то смерзнешь, такая-сякая!.. Студено!.. Руки-то коченеют, под кацавейку мороз набирается, и нос вишенкой горит. Вошла Хавроша в лес, устала, запыхалась. Да слава Богу, вон в стороне стоит елочка, какую ей надо: кудреваستنенькая, высокононькая, аккуратная такая!.. Достала Хавроша топор и полезла по сугробам к елочке. Ноги вязнут в снегу: не то что по пояс, а по горло Хавроша в сугроб ушла. Да ничего, выкарабкалась!..

Ох, только уж вот этот мороз!.. Скрючил он пальцы у Хавроши – не разогнешь; топор не удержишь в руках, а не то что рубить... Стала Хавроша на пальцы дуть, да мороз дух захватывает, все в ней стынет!.. Даже заплакала Хавроша.

Чу!.. Скрипят полозья, лошадь фыркает!.. Никак, едет кто!..

Ободрилась Хавроша, оглянулась и видит, что точно кто-то едет, да никак свой...

– Дядя Андрей!.. Андре-ей!..

На дороге за елями остановились розвальни, и вся лохматая, словно обсахаренная, лошаденка дымилась от пара... Бородатый, рыжий мужик сошел с саней и оглянулся...

– Хаврошка?.. Да как ты сюда попала?..

– Да я за елкой!.. А ты в город?..

– В город и есть!..

– Сруби, дядя Андрей, елку-то... В город свезем. Ишь, тетка сказывала, господам они нужны... Деньги платят...

Мужик почесал затылок и сказал:

– А что, братец ты мой, и то!.. И тебе срублю, и себе пяток возьму... Продадим и то... Ступай, ложись в сани-то, прикройся веретьем, а я, дай срок, нарублю...

Нарубили елок, навязали и поехали.

– А что, братец ты мой, – сказал Андрей, – кабы не случай, смерзла бы в лесу ни за грош! Либо заяц бы тебя залягал!.. Ишь, востроносая, что удумала!..

4

Шумно, людно на базаре. Скоро святки!.. Живо раскупили у дяди Андрея целый воз елок. Осталась только Хаврошина елка. Жаль Хавроше елку продавать. А дядя Андрей ворчит:

– Что ж мне, с тобой до ночи на морозе-то мерзнуть?.. Продавай, что ли, пора...

В это время мимо проходила какая-то барыня с девочкой.

– Что стоит елка?.. – спросила барыня.

– Три рубля, – пролепетала Хавроша.

– Да ты с ума сошла! – вскрикнула барыня. – Вся-то ей цена 25 копеек.

Дяде Андрею даже обидно стало.

– Э-эх, барыня!.. – сказал он горько. – Оно точно, елка ничего не стоит, да девчонка-то вся смерзла, на морозе-то стоя; а дома-то у нее мать больна, и праздник нонче!..

Барыня быстро достала три рубля и сунула их Хавроше... Вечер. Тускло чадит лампочка в Ариной избенке. Тетка Варвара сидит за столом и ужинает. Арина, еще слабая от болезни, встала и прибирает посуду.

– Сердце-то не на месте, – говорит она, – и где это Хавроша запропала!..

В это время под окнами с надворья завизжали полозья; послышались глухие голоса... Собака залаяла. Кто-то стукнул в окно, и Варвара, кряхтя и ворча, пошла отпирать ворота... Дверь с визгом распахнулась, клуб пара вырвался из избы...

– Хавроша!..

– Вот тебе пропащая твоя!.. – проворчала тетка Варвара, вешая шубу на гвоздь. – Ишь, в городе побывала... ну и шустрая же!.. Ты послушай, чудес-то каких она натворила!..

На другой день был сочельник. В деревне все знали, что наделала Хаврошка, и об этом только и говору было.

А в сумерки тетка Варвара, весь день сидевшая у окна туча-тучей, окликнула сестру и сказала ей:

– Слышь ты, сестра... Одолела, значит, меня Хаврошка твоя... Вот что!.. Да... Хотела я в монастырь пристроиться; ну, так что вижу, Господь мне указал, чтобы вас, значит, не покидать... Да... Ну, и останусь я жить у вас, и там что насчет денег, все это можно. А только ты-то уж меня при старости корми, пой!.. Одолела меня девчонка твоя!.. И шустрая же, сейчас помереть...

Арина чуть не до земли поклонилась сестре и только всего и сказала:

– Благослови тебя Бог, сестрица... Вместе и жить станем, вместе и к Господу Богу пойдем!..

1914–1916 (?)

Морис Карем (1899–1978)

Перед Рождеством

«И зачем ты, мой глупый малыш,
Нос прижимая к стеклу,
Сидишь в темноте и глядишь
В пустую морозную мглу?
Пойдем-ка со мною туда,
Где в комнате блещет звезда,
Где свечками яркими,
Шарами, подарками
Украшена елка в углу!» —
«Нет, скоро на небе зажжется звезда.
Она приведет этой ночью сюда,
как только родится Христос
(Да-да, прямо в эти места!
Да-да, прямо в этот мороз!),
Восточных царей, премудрых волхвов,
Чтоб славить Младенца Христа.
И я уже видел в окно пастухов!
Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!
А ослик по улице нашей прошел!»

Перевод Валентина Берестова

Ясли

Ясли, – так мечтал один ребенок, —
Можно склеить из цветных картонок,
Сделать из бумаги золотой
Пастухов с рождественской звездой.

Ослик, вол – какая красота! —
Встанут рядом с яслями Христа.
Вот они – в одеждах позолоченных
Три царя из дивных стран восточных.

По пустыне в ожидание чуда
Их везут послушные верблюды.
А Христос-младенец? В этот час
Он в сердцах у каждого у нас!

Перевод Валентина Берестова

Колыбельная елочке

Спи, елочка-деточка, под пенье метели.
Я снегом пушистым тебя уберу.
Усни на коленях у матушки-ели,
Такая зеленая в белом бору.

Усни и не слушай ты всякого вздора,
Ни ветра, ни зверя, ни птиц, никого!
Как будто возьмут нашу елочку скоро
И в дом увезут, чтоб встречать Рождество.

Нет, в чан с оторочкой из старой бумаги
Тебя не поставят у всех на виду.
Не будешь держать ты гирлянды и флаги,
Игрушки и свечи, шары и звезду.

Нет, спрячешь ты зайньку – длинные ушки,
Тебя разукрасят метель и мороз,
И вспыхнет звезда у тебя на макушке
В тот час, как родился Младенец Христос.

Перевод Валентина Берестова

Анатолий Франс (1844–1924)

Новогодний подарок мадемуазель де Дусин

Утром 1 января добрый г-н Шантерель вышел пешком из своего особняка в предместье Сен-Марсель. Кровь плохо согревала его, двигался он с трудом, и ему стоило немалых усилий идти в такую холодную погоду по улицам, покрытым скользким талым снегом. В порыве самоуничтожения он уже давно отказался от кареты, так как после болезни стал серьезно беспокоиться о спасении своей души. Он жил уединенно, вдали от общества и друзей, и бывал только у племянницы, семилетней мадемуазель де Дусин.

Опираясь на палку, он не без труда добрался до улицы Сент-Оноре и вошел в лавку г-жи Пенсон, известную под названием «Корзина цветов». Там было выставлено такое множество детских игрушек – подарков к наступающему 1896 году, что посетители с трудом пробирались среди всех этих танцующих и пьющих вино человечков-автоматов, поющих на ветвях птичек, домиков с восковыми фигурками внутри, солдатиков в белых и голубых мундирах, выстроенных в боевом порядке, и кукол, одни из которых были в нарядах знатных дам, а другие в платье служанок, ибо неравенство, установленное на земле самим Господом Богом, царило и в этом игрушечном мире.

Господин Шантерель остановил свой выбор на кукле, одетой, как принцесса Савойская в день ее прибытия во Францию 4 ноября. Пышно причесанная и украшенная лентами, она была наряжена в плотно облегающий, шитый золотом корсаж, парчовую юбку и накидку с жемчужными застежками.

Господин Шантерель улыбнулся при мысли о том, в какой восторг эта красавица кукла приведет мадемуазель де Дусин, и когда г-жа Пенсон подала ему принцессу Савойскую, завернутую в шелковую бумагу, его лицо, побледневшее от постов, изможденное болезнью и удрученное постоянным страхом перед загробной карой, на мгновение озарилось чисто земной радостью.

Он учтиво поблагодарил г-жу Пенсон, взял принцессу под мышку и, волоча ногу, направился туда, где, как он знал, мадемуазель де Дусин уже проснулась, но не встает, ожидая его прихода. На углу улицы Сухого Дерева он встретил г-на Спона, огромный нос которого свешивался чуть ли не до самого кружевного жабо.

– Добрый день, господин Спон, – приветствовал его г-н Шантерель. – Поздравляю вас с Новым годом и молю Бога, чтобы все ваши желания исполнились.

– О сударь, подумайте, что вы говорите! – воскликнул г-н Спон. – Ведь нередко Господь внимает нашим желаниям лишь для того, чтобы покарать нас. *Et tribuit eis petitionem eorum*¹.

– Совершенно справедливо, – ответил г-н Шантерель. – Мы не всегда умеем распознать, что для нас благо. Я сам тому живой пример. Сперва я счел болезнь, которой страдаю вот уже два года, большим злом; впоследствии же я понял, что это – великое благо, ибо она побудила меня отказаться от той греховной жизни, которую я вел, растрачивая время на всевозможные развлечения. Эта болезнь, повредившая мне ноги и помутившая голову, была на самом деле знаком великой милости, которую мне ниспослал Господь. Но не соблаговолите ли вы, сударь, проводить меня до квартала Руль, куда я спешу с новогодним подарком для моей племянницы, мадемуазель де Дусин.

При этих словах г-н Спон воздел руки к небу и вскричал:

¹ И исполнил Он просьбу их (лат.).

– Как! Вас ли я слышу, господин Шантерель? Нет, это скорее слова вольнодумца! Возможно ли, сударь: вы вели такую праведную и уединенную жизнь и вдруг предались мирским порокам?

– Что вы! Я и не думал этого делать, – задрожав, ответил г-н Шантерель. – Но прошу вас, объяснитесь. Неужели подарить куклу мадемуазель де Дусин – такой уж большой грех?

– Тягчайший, – сказал г-н Спон. – Ведь то, что вы собираетесь подарить сегодня этому невинному ребенку, должно скорее именоваться сатанинским идолом, нежели куклой. Неужели вам неизвестно, что обычай делать новогодние подарки есть омерзительное и преступное суеверие, унаследованное от язычников?

– Я этого не знал, – возразил г-н Шантерель.

– Так знайте же, – продолжал г-н Спон, – что этот обычай ведется от римлян, которые видели во всяком начале нечто божественное, а потому обожествляли и начало года. Так что тот, кто поступает, как они, превращается в идолопоклонника. Вы, сударь мой, делаете новогодние подарки подобно почитателям бога Януса². Тогда уж заодно посвящайте, как они, первый день каждого месяца Юноне³.

Господин Шантерель, который едва держался на ногах, попросил г-на Спона дать ему руку. Дорóгой г-н Спон снова заговорил:

– Неужели из-за того только, что астрологи положили считать первое января началом года, вы должны в этот день делать подарки? И что вас заставляет именно сегодня воскрешать в душе друзей нежное чувство к вам? Разве эта нежность угасла к концу года? Да и может ли быть вам дорого чувство такой нежности, которую надо оживлять льстивыми словами и подарками?

– Сударь, – ответил добрый г-н Шантерель, опираясь на руку г-на Спона и силясь приспособить свои нетвердые шаги к стремительной походке спутника, – сударь, до болезни я был жалким грешником и думал лишь о том, чтобы учтиво обходиться с друзьями и вести себя как подобает человеку чести. Провидению угодно было извлечь меня из этой бездны; с тех пор как я обратился на путь истины, я во всем руководствуюсь советами моего духовника. Но я поступил легкомысленно, не спросив его мнения о новогодних подарках. И то, что говорите мне вы, сударь, человек столь сведущий в делах добронравия и веры, повергает меня в совершенное смущение.

– Сейчас я действительно приведу вас в смущение, – подхватил г-н Спон, – но при этом и просвещу вас – не своим слабым разумением, конечно, а словами великого ученого и светоча знания. Присядьте на эту тумбу.

И, подтолкнув г-на Шантереля к каким-то воротам, в углу которых тот кое-как устроился, г-н Спон достал из кармана книжечку в пергаментном переплете, раскрыл ее, полистал и, отыскав нужное место, стал громко читать, окруженный сбежавшимися трубочистами, горничными и поварами, которых привлекли раскаты его голоса:

– «Все мы, ужасающиеся еврейским обрядам и находящие странными и нелепыми их субботы, новолуния и другие празднества, некогда угодные Богу, – все мы тем не менее свыклись с сатурналиями⁴ и январскими календами⁵, с матроналиями⁶ и торжествами в день солнцеворота. Со всех сторон сыплются новогодние подарки, летят поздравления; повсюду стоит шум игрищ и пиров. Язычники и те ревностнее блюдут свою веру, ибо они остерегаются участ-

² *Янус* – у древних римлян бог всякого начала, управлявший движением времени. Ему был посвящен первый месяц года, названный в его честь январем.

³ *Юнона* – у древних римлян покровительница женщины в браке.

⁴ *Сатурналии* – у древних римлян декабрьский праздник в честь Сатурна, покровителя земледелия.

⁵ *Календы* – в древнеримском календаре название первого дня каждого месяца.

⁶ *Матроналии* – празднества в Древнем Риме в честь богини Юноны, которые праздновались замужними женщинами (матронами) ежегодно 1 марта.

воват в наших празднествах из боязни прослыть христианами; мы же не страшимся прослыть язычниками, сохраняя их праздники». Слышите? – добавил г-н Спон. – Так говорит сам Тертуллиан⁷, указуя из недр Африки, насколько не подобают вам эдакие поступки. Он вопиет: «Со всех сторон сыплются новогодние подарки, летят поздравления! Вы справляете языческие праздники!» Я не имею чести знать вашего духовника, сударь мой, но я содрогаюсь при мысли о том одиночестве, в котором он вас оставил. Уверены ли вы хоть в том, что в смертный час, когда вы предстанете перед Господом, ваш духовник будет рядом с вами, чтобы принять на себя грехи, в которые вы впали по его небрежению?

Сказав все это, г-н Спон спрятал книжку в карман и с разгневанным видом удалился в сопровождении изумленных трубочистов и поварят, державшихся на некотором расстоянии от него.

Добрый г-н Шантерель остался у ворот наедине с принцессой Савойской и, нарисовав себе картину вечных адских мук, на которые его обрекло намерение подарить куклу мадемуазель де Дусин, своей племяннице, принялся размышлять о неисповедимых тайнах веры. Ноги, которыми он уже давно владел с трудом, теперь совсем отказывались ему повиноваться, и он чувствовал себя настолько несчастным, насколько может им быть в нашем мире человек, исполненный самых благих намерений.

Он уже несколько минут в полном отчаянии сидел на тумбе, как вдруг какой-то капуцин⁸ подошел к нему и сказал:

– Сударь, не подадите ли вы сколько-нибудь во имя Божие на новогодние подарки меньшей братии?

– Как! Отец мой, что вы говорите? – воскликнул г-н Шантерель. – Вы, монах, просите подаяния на новогодние подарки?

– Сударь, – возразил ему капуцин, – святой Франциск⁹ по доброте своей пожелал, чтобы и его дети радовались в простоте сердечной. Пожертвуйте сегодня что-нибудь на добрый ужин капуцинам, чтобы они потом бодро и радостно переносили пост и воздержание в течение всего года, исключая, разумеется, воскресные дни и праздники.

Господин Шантерель изумленно посмотрел на монаха:

– Да разве вы не боитесь, отец мой, что новогодним подарком можно погубить душу?

– Конечно, нет.

– Но ведь этот обычай идет от язычников!

– И у язычников бывали хорошие обычаи. Господь иногда озарял светом своим мрак язычества. Но, сударь, если вы отказываете в новогодних подарках вам, то не откажите в них бедным детям. Мы ведь воспитываем подкидышей. На ваше пожертвование я куплю им всем по бумажной мельнице и прянику. Быть может, они будут вам обязаны единственной счастливой минутой во всей своей жизни, потому что на земле им уготовано не много радости. Их смех донесется до неба. А когда дети смеются, они славят Господа.

Господин Шантерель положил свой довольно увесистый кошелек в руку минорита¹⁰ и поднялся с тумбы, шепча слова, которые только что услышал: «Когда дети смеются, они славят Господа».

А затем, с просветленной душой, он окрепшим шагом направился с принцессой Савойской под мышкой к мадемуазель де Дусин, своей племяннице.

1908

⁷ Тертуллиан (160–240) – христианский писатель родом из Карфагена.

⁸ Капуцины – католический монашеский орден, ответвление ордена францисканцев.

⁹ Франциск Ассизский (1182–1226) – католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена францисканцев.

¹⁰ Минорит – (меньший брат) монах ордена францисканцев.

Изабелла Гриневская (1854–1942)

Звезда

Рождественская песнь

На широком небосводе,
В звездном ярком хороводе,
Светит дивная звезда.
Всюду луч она заронит,
Где людское горе стонет, —
В села, рощи, города.
Луч доходит до светлицы
И крестьянки, и царицы,
И до птичьего гнезда.
Он вскользнет и в дом богатый,
И не минет бедной хаты
Луч волшебный никогда.
Всюду ярче радость блещет,
Где тот звездный луч трепещет,
И не страшна там беда,
Где засветится звезда.

Зинаида Гиппиус (1869–1945)

Белое

Рождество, праздник детский, белый,
Когда счастливы самые несчастные...
Господи! Наша ли душа хотела,
Чтобы запылали зори красные?

Ты взыщешь, Господи, но с нас ли, с нас ли?
Звезда Вифлеемская за дымами алыми...
И мы не знаем, где Царские ясли,
Но все же идем ногами усталыми.

Мир на земле, в человеках благоволение...
Боже, прими нашу мольбу несмелую:
Дай земле Твоей умиренье,
Дай побеждающей одежду белую...

Второе Рождество

Белый праздник – рождается предвечное Слово,
белый праздник идет, и снова —
вместо елочной восковой свечи
бродят белые прожекторов лучи,
мерцают сизые стальные мечи
вместо елочной восковой свечи.
Вместо ангельского обещанья,
пропеллера вражьего жужжания,
подземное страданье ожидания,
вместо ангельского обещанья.

Но вихрям, огню и мечу
покориться навсегда не могу,
я храню восковую свечу,
я снова ее зажгу
и буду молиться снова:
родись, предвечное Слово!
затеpli тишину земную,
обними землю родную...

Николай Телешов (1867–1957)

Елка Митрича

Из цикла «Переселенцы»

I

Был канун Рождества...

Сторож переселенческого барака, отставной солдат, с серою, как мышиная шерсть, бородою, по имени Семен Дмитриевич, или попросту Митрич, подошел к жене и весело проговорил, попыхивая трубочкой:

– Ну, баба, какую я штуку надумал!

Аграфене было некогда; с засученными рукавами

и расстегнутым воротом она хлопотала в кухне, готовясь к празднику.

– Слышь, баба, – повторил Митрич. – Говорю, какую я штуку надумал!

– Чем штуки-то выдумывать, взял бы метелку да вон паутину бы снял! – ответила жена, указывая на углы. – Вишь, пауков развели. Пошел бы да смёл!

Митрич, не переставая улыбаться, поглядел на потолок, куда указывала Аграфена, и весело сказал:

– Паутина не уйдет; смету... А ты слышь-ка, баба, что я надумал-то!

– Ну?

– Вот те и ну! Ты слушай.

Митрич пустил из трубки клуб дыма и, погладив бороду, присел на лавку.

– Я говорю, баба, вот что, – начал он бойко, но сейчас же запнулся. – Я говорю, праздник подходит... И для всех он праздник, все ему радуются... Правильно, баба?

– Ну?

– Ну, вот я и говорю: все, мол, радуются, у всякого есть свое: у кого обновка к празднику, у кого пиры пойдут... У тебя, к примеру, комната будет чистая, у меня тоже свое удовольствие: винца куплю себе да колбаски!.. У всякого свое удовольствие будет – правильно?

– Так что ж? – равнодушно сказала старуха.

– А то, – вздохнул снова Митрич, – что всем будет праздник как праздник, а вот, говорю, ребятишкам-то, выходит, и нет настоящего праздника... Поняла?.. Оно праздник-то есть, а удовольствия никакого... Гляжу я на них, да и думаю; эх, думаю, неправильно!.. Известно, сироты... ни матери, ни отца, ни родных... Думаю себе, баба: нескладно!.. Почему такое – всякому человеку радость, а сироте – ничего!

– Тебя, видно, не переслушаешь, – махнула рукой Аграфена и принялась мыть скамейки.

Но Митрич не умолкал.

– Надумал я, баба, вот что, – говорил он, улыбаясь, – надо, баба, ребятишек потешить!.. Потому видал я много народу, и наших и всяких людей видал... И видал, как они к празднику детей забавляют. Принесут, это, елку, уберут ее свечками да гостинцами, а ребятки-то ихние просто даже скачут от радости!.. Думаю себе, баба: лес у нас близко... срублю себе елочку да такую потеху ребятишкам устрою, что весь век будут Митрича поминать! Вот, баба, какой умысел, а?

Митрич весело подмигнул и чмокнул губами:

– Каков я-то?

Аграфена молчала. Ей хотелось поскорее прибрать и вычистить комнату. Она торопилась, и Митрич с своим разговором ей только мешал.

– Нет, каков, баба, умысел, а?

– А ну те с твоим умыслом! – крикнула она на мужа. – Пусти с лавки-то, чего засел! Пусти, некогда с тобой сказки рассказывать!

Митрич встал, потому что Аграфена, окунув в ведро мочалку, перенесла ее на скамью прямо к тому месту, где сидел муж, и начала тереть. На пол полились струи грязной воды, и Митрич смекнул, что пришел невпопад.

– Ладно, баба! – проговорил он загадочно. – Вот устрою потеху, так небось сама скажешь спасибо!.. Говорю, сделаю – и сделаю! Весь век поминать будут Митрича ребятишки!..

– Видно, делать-то тебе нечего.

– Нет, баба! Есть что делать: а сказано, устрою – и устрою! Даром что сироты, а Митрича всю жизнь не забудут!

И, сунув в карман потухшую трубку, Митрич вышел во двор.

II

По двору, там и сям, были разбросаны деревянные домики, занесенные снегом, забитые досками; за домиками раскидывалось широкое снежное поле, а дальше виднелись верхушки городской заставы... С ранней весны и до глубокой осени через город проходили переселенцы. Их бывало так много и так они были бедны, что добрые люди выстроили им эти домики, которые сторожил Митрич.

Домики бывали все переполнены, а переселенцы между тем все приходили и приходили. Деваться им было некуда, и вот они раскидывали в поле шалаши, куда и прятались с семьей и детьми в холод и непогоду. Иные жили здесь неделю, две, а иные больше месяца, дожидаясь очереди на пароходе. В половине лета здесь набиралось народа такое множество, что все поле было покрыто шалашами. Но к осени поле мало-помалу пустело, дома освобождались и тоже пустели, а к зиме не оставалось уже никого, кроме Митрича и Аграфены да еще нескольких детей, неизвестно чьих.

– Вот уж непорядок так непорядок! – рассуждал Митрич, пожимая плечами. – Куда теперь с этим народом деваться? Кто они такие? Откуда явились?

Вздыхая, он подходил к ребенку, одиноко стоявшему у ворот.

– Ты чей такой?

Ребенок, худой и бледный, глядел на него робкими глазами и молчал.

– Как тебя звать?

– Фомка.

– Откуда? Как деревню твою называют?

Ребенок не знал.

– Ну, отца как зовут?

– Тятка.

– Знаю, что тятка... А имя-то у него есть? Ну, к примеру, Петров, или Сидоров, или там Голубев, Касаткин? Как звать-то его?

– Тятка.

Привычный к таким ответам, Митрич вздыхал и, махнув рукою, более не допытывался.

– Родителей-то, знать, потерял, дурачок? – говорил он, глядя ребенка по голове. – А ты кто такой? – обращался он к другому ребенку. – Где твой отец?

– Помер.

– Помер? Ну, вечная ему память! А мать куда девалась?

– Померла.

– Тоже померла?

Митрич разводил руками и, собирая таких сирот, отводил их к переселенческому чиновнику. Тот тоже допрашивал и тоже пожимал плечами. У одних родители умерли, у других ушли неизвестно куда, и вот таких детей на эту зиму набралось у Митрича восемь человек, один другого меньше. Куда их девать? Кто они? Откуда пришли? Никто этого не знал.

«Божьи дети!» – называл их Митрич.

Им отвели один из домов, самый маленький. Там они жили, и там затеял Митрич устроить им ради праздника елку, какую он видывал у богатых людей. «Сказано, сделаю – и сделаю!» – думал он, идя по двору. – Пускай сиротки порадуются! Такую потеху сочиню, что весь век Митрича не забудут!»

III

Прежде всего он отправился к церковному старосте.

– Так и так, Никита Назарыч, я к вам с усерднейшей просьбой. Не откажите доброму делу.

– Что такое?

– Прикажете выдать горсточку огарков... самых махоньких... Потому как сироты... ни отца, ни матери... Я, стало быть, сторож переселенский... Восемь сироток осталось... Так вот, Никита Назарыч, одолжите горсточку.

– На что тебе огарки?

– Удовольствие хочется сделать... Елку зажечь, вроде как у путных людей.

Староста поглядел на Митрича и с укором покачал головой.

– Ты что, старик, из ума, что ли, выжил? – проговорил он, продолжая качать головой. – Ах, старина, старина! Свечи-то небось перед иконами горели, а тебе их на глупости дать?

– Ведь огарочки, Никита Назарыч...

– Ступай, ступай! – махнул рукою староста. – И как тебе в голову такая дурь пришла, удивляюсь!

Митрич как подошел с улыбкой, так с улыбкой же и отошел, но только ему было очень обидно. Было еще и неловко перед церковным сторожем, свидетелем неудачи, таким же, как и он, старым солдатом, который теперь глядел на него с усмешкой и, казалось, думал: «Что? Наткнулся, старый хрен!..» Желая доказать, что он не «на чай» просил и не для себя хлопотал, Митрич подошел к старику и сказал:

– Какой же тут грех, коли я огарок возьму? Сиротам прошу, не себе... Пусть бы порадовались... ни отца, стало быть, ни матери... Прямо сказать: Божьи дети!

В коротких словах Митрич объяснил старику, зачем ему нужны огарки, и опять спросил:

– Какой же тут грех?

– А Никиту Назарыча слышал? – спросил в свою очередь солдат и весело подмигнул глазом. – То-то и дело!

Митрич потупил голову и задумался. Но делать было нечего. Он приподнял шапку и, кивнув солдату, проговорил обидчиво:

– Ну, так будьте здоровы. До свиданья!

– А каких тебе огарков-то?

– Да все одно... хошь самых махоньких. Одолжили бы горсточку. Доброе дело сделаете. Ни отца, ни матери... Прямо – ничьи ребятишки!

Через десять минут Митрич шел уже городом с полным карманом огарков, весело улыбаясь и торжествуя.

Ему нужно было зайти еще к Павлу Сергеевичу, переселенческому чиновнику, поздравить с праздником, где он рассчитывал отдохнуть, а если угостят, то и выпить стаканчик водки.

Но чиновник был занят; не повидав Митрича, он велел сказать ему «спасибо» и выслал полтинник. «Ну, теперь ладно! – весело думал Митрич. – Теперь пускай говорит баба, что хочет, а уж потеху я сделаю ребятишкам! Теперь, баба, шабаш!»

Вернувшись домой, он ни слова не сказал жене, а только посмеивался молча да придумывал, когда и как все устроить.

«Восемь детей, – рассуждал Митрич, загибая на руках корявые пальцы, – стало быть, восемь конфет...»

Вынув полученную монету, Митрич поглядел на нее и что-то сообразил.

– Ладно, баба! – подумал он вслух. – Ты у меня посмотришь! – И, засмеявшись, пошел навестить детей.

Войдя в барак, Митрич огляделся и весело проговорил:

– Ну, публика, здравствуй. С праздником!

В ответ раздались дружные детские голоса, и Митрич, сам не зная чему радуясь, растрогался.

– Ах вы, публика-публика!.. – шептал он, утирая глаза и улыбаясь. – Ах вы, публика этакая!

На душе у него было и грустно, и радостно. И дети глядели на него тоже не то с радостью, не то с грустью.

IV

Был ясный морозный полдень.

С топором за поясом, в тулупе и шапке, надвинутой по самые брови, возвращался Митрич из леса, таща на плече елку. И елка, и рукавицы, и валенки были запущены снегом, и борода Митрича заиндевела, и усы замерзли, но сам он шел ровным, солдатским шагом, махая по-солдатски свободной рукой. Ему было весело, хотя он и устал.

Утром он ходил в город, чтобы купить для детей конфет, а для себя – водки и колбасы, до которой был страстный охотник, но покупал ее редко и ел только по праздникам.

Не сказываясь жене, Митрич принес елку прямо в сарай и топором заострил конец; потом приладил ее, чтобы стояла, и, когда все было готово, потащил ее к детям.

– Ну, публика, теперь смирно! – говорил он, устанавливая елку. – Вот маленько оттаает, тогда помогайте!

Дети глядели и не понимали, что такое делает Митрич, а тот все прилаживал да приговаривал:

– Что? Тесно стало?.. Небось, думаешь, публика, что Митрич с ума сошел, а? Зачем, мол, тесноту делает?.. Ну-ну, публика, не сердись! Тесно не будет!..

Когда елка согрелась, в комнате запахло свежестью и смолой. Детские лица, печальные и задумчивые, внезапно повеселели... Еще никто не понимал, что делает старик, но все уже предчувствовали удовольствие, и Митрич весело поглядывал на устремленные на него со всех сторон глаза. Затем он принес огарки и начал привязывать их нитками.

– Ну-ка, ты, кавалер! – обратился он к мальчику, стоя на табуретке. – Давай-ка сюда свечку... Вот так! Ты мне подавай, а я буду привязывать.

– И я! И я! – послышались голоса.

– Ну и ты, – согласился Митрич. – Один держи свечки, другой нитки, третий давай одно, четвертый другое... А ты, Марфуша, гляди на нас, и вы все глядите... Вот мы, значит, все и будем при деле. Правильно?

Кроме свечей, на елку повесили восемь конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал:

– А ведь... жидко, публика?

Он молча постоял перед елкой, вздохнул и опять сказал:

– Жидко, братцы!

Но, как ни увлекался Митрич своей затеей, однако повесить на елку, кроме восьми конфет, он ничего не мог.

– Гм! – рассуждал он, бродя по двору. – Что бы это придумать?..

Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился.

– А что? – сказал он себе. – Правильно будет или нет?..

Закурив трубочку, Митрич опять задался вопросом: правильно или нет?.. Выходило как будто «правильно»...

– Детишки они малые... ничего не смыслят, – рассуждал старик. – Ну, стало быть, будем мы их забавлять... А сами-то? Небось и сами захотим позабавиться?.. Да и бабу надо попотчевать!

И недолго думая Митрич решился. Хотя он очень любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на славу пересилило все его соображения.

– Ладно!.. Отрежу всякому по кружочку и повешу на ниточке. И хлебца по ломтику отрежу, и тоже на елку. А для себя повешу бутылочку!.. И себе налью, и бабу угощу, и сироткам будет лакомство! Ай да Митрич! – весело воскликнул старик, хлопнув себя обеими руками по бедрам. – Ай да затейник!

V

Как только стемнело, елку зажгли. Запахло топленым воском, смолой и зеленью. Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно закричали, глядя на огоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились, и, когда Митрич велел им плясать вокруг елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумели. Смех, крики и говор оживили в первый раз эту мрачную комнату, где из года в год слышались только жалобы да слезы. Даже Аграфена в удивлении всплескивала руками, а Митрич, ликуя от всего сердца, прихлопывал в ладоши да покрикивал:

– Правильно, публика!.. Правильно!

Затем он взял гармонику и, наигрывая на все лады, подпевал:

Живы были мужики,
Росли грибы-рыжики,
Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!

– Ну, баба, теперь закусим! – сказал Митрич, кладя гармонику. – Публика, смирно!..

Любуясь елкой, он улыбался и, подперев руками бока, глядел то на кусочки хлеба, висевшие на нитках, то на детей, то на кружки колбасы и наконец скомандовал:

– Публика! Подходи в очередь!

Снимая с елки по куску хлеба и колбасы, Митрич оделил всех детей, затем снял бутылку и вместе с Аграфеной выпил по рюмочке.

– Каков, баба, я-то? – спрашивал он, указывая на детей. – Погляди, ведь жуют сиротки-то! Жуют! Погляди, баба! Радуйся!

Затем опять взял гармонику и, позабыв свою старость, вместе с детьми пустился плясать, наигрывая и подпевая:

Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!

Дети прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от них. Душа его переполнилась такою радостью, что он не помнил, бывал ли еще когда-нибудь в его жизни этаким праздник.

– Публика! – воскликнул он наконец. – Свечи догорают... Берите сами себе по конфетке, да и спать пора!

Дети радостно закричали и бросились к елке, а Митрич, умилившись чуть не до слез, шепнул Аграфене:

– Хорошо, баба!.. Прямо можно сказать правильно!..

Это был единственный светлый праздник в жизни переселенческих «Божьих детей».

Елку Митрича никто из них не забудет!

1897

Николай Заболоцкий (1903–1958)

Бегство в Египет

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель,
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем
В тонкой капсуле пелен
Иудейским поселенцем
В край далекий привезен.

Перед Иродовой бандой
Трепетали мы. Но тут
В белом домике с верандой
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,
Я резвился на песке.
Мать с Иосифом, счастливы,
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса
Отдыхал, и светлый Нил,
Словно выпуклая линза,
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,
В этом радужном огне
Духи, ангелы и дети
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой —

Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень Распятого в горах, —

Вскрикнул я и пробудился...
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.

1955

Саша Чёрный (1880–1932)

Рождественское

В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен его волос...

Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мямлил губой.

Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком...

Присмиривший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал.

«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!» —
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине...

А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!..»

1920

Николай Вагнер (1829–1907)

Новый год

I

С Новым годом! С Новым годом! И все веселы и рады его рождению.

Он родился ровно в полночь! Когда старый год – седой, дряхлый старикашка – укладывается спать в темный архив истории, тогда Новый год только, только что открывает свои младенческие глаза и на весь мир смотрит с улыбкой.

И все ему рады, веселы, счастливы и довольны. Все поздравляют друг друга, все говорят: «С Новым годом! С Новым годом!»

Он родится при громе музыки, при ярком свете ламп и канделябр. Пробки хлопают! Вино льется в бокалы, и всем весело, все чокаются бокалами и говорят:

– С Новым годом! С Новым годом!

А утром, когда румяное, морозное солнце Нового года заблестит миллионами бриллиантовых искорок на тротуарах, домах, лошадях, вывесках, деревьях, когда розовый нарядный дым полетит из всех труб, а розовый пар из всех морд и ртов, – тогда весь город засуетится, забегает. Заскрипят, покатаются кареты во все стороны, полетят санки, завизжат полозья на лощеном снегу. Все поедут, побегут друг к другу поздравлять с рождением Нового года.

Вот большая широкая улица! По тротуарам взад и вперед снует народ. Медленно, важно проходят теплые шубы с бобровыми воротниками. Бегут шинелишки и заплатанные пальтишки. Мерной, скорой поступью – в ногу: раз, два, раз, два – бегут, маршируют бравые солдатики.

Вот между народа бежит и старушочка, а с ней трое деток. Старший сынок в маленьком обдерганном тулупчике без воротника и в протертых валенках бежит впереди, подпрыгивает, подплясывает и то и дело хватает за уши – бегут, бегут, скрип, скрип, скрип.

– Мороз лютой, погоняй, не стой!.. Бежим, matka, бежим!

– Бежим, касатик, бежим, родной. Мороз лютой, погоняй, не стой!.. Господи Иисусе! Бежим, Гришутка, бежим, лапушка!..

И Гришутка торопится, пытит, семенит ножонками. Скрип, скрип, скрип... От земли чуть видно. Шубка длинная, не по нем, но его поддерживает сестренка Груша. Поддерживает, а сама все жметса, ёжитса. Похлопает, похлопает ручками в варежках и опять схватит Гришутку за ручку и – побежит, побежит!..

– Мороз лютой, погоняй, не стой!..

Но Гришутка не чувствует мороза. Ему тепло, ему жарко. Пар легким облачком вьется около его личика.

И весь он там, еще там, где они были назад тому с полчаса. В больших палатах, где большая, большая лестница уставлена вся статуями и цветами. Там швейцар с большими черными баками, весь в золотых галунах, в треугольной шляпе и с большою палкой.

Там живет сам «его превосходительство», и они ходили поздравлять его с Новым годом.

Каждый Новый год приходит Петровна с детками поздравлять его превосходительство, и каждый раз его превосходительство высылает ей три рубля за верную и усердную службу ее покойного мужа Михеича.

И на этот раз швейцар доложил – и через час выслали с лакеем новенькую, не согнутую трехрублевую бумажку.

Петровна поклонилась, поблагодарила, перекрестилась, дала швейцару двугривенный, на который он посмотрел искоса, подбросил на руке и затем с важностью опустил в жилетный карман.

Все время, пока они стояли в сенях у его превосходительства, Гришутка на все дивовался, все осматривал своими большими черными глазами и поминутно теребил мать за рукав.

– А это, мама, лестница? – лепечет он чуть слышно.

– Лестница, касатик, – шепчет мама.

– А куда она идет?

– Наверх, в комнаты.

– Они тоже большущие?

– Большущие, касатик, большущие.

– А на лестнице это сады рассажены?

– Сады, родименький, сады.

– А между ними что за куклы большущие, белые стоят?

– Это для красы, лапушка, для красы.

– А это что, вон там, светлое такое – большущее?

– Это зеркало, касатик, зеркало.

– А это, посреди, из чашки вверх бежит, это что такое, мамонька?

– Это фантал, касатик, фантал... А ты нишкни, лапушка, сейчас придут... нехорошо болтать-то...

И Гришутка замолк, но не успокоился. Его черные глаза словно хотели проникнуть насквозь и ковер на лестнице, и медные прутья, которыми он был пристегнут, и лепку на сводах высоких пилястр, и грациозную фигурку сирены, поддерживающей чашу фонтана.

«Вот бы туда посмотреть! – думал он. – В те большущие комнаты, что наверху этой лестницы с куклами. Там, чай, каких чудес нет?..»

И он бежал дорогой и все придумывал, воображая, – какие должны быть чудеса на этой большущей лестнице?

– Бежим, бежим, лапушка, замерзнешь, – торопила Груня.

И Гришутка инстинктивно бежал скоро, скоро, скоро. Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип!..

II

Прибежали в переулчишко, узенький, дрянненький, в двухэтажный серенький домишко, и то на задний двор, чуть не в подвальный этаж; перед грязным, заплесканным крылечком целая гора намерзла грязных помоев. Скатились, точно в яму. Здравствуйте! Домой пришли.

– Холодно! голодно!

– Погодите, ребятки, – говорит мать, – теперь у нас есть что поесть и чем погреться. Погодите, родненькие. Сейчас будем с Новым годом. Я духом слетаю, дровец куплю, того, сего.

И действительно, духом слетала. Только по дорожке, на самую чуточку-минуточку в питейный дом завернула и шкалик перепустила, – да тут же рядом в лавочке пряничков, орешков, леденчиков купила и три фунта колбасики вареной, да краюшку решетного, да полфунтика масла промерзлого – чтобы Новый год было масляно встречать.

– Ну! Пташечки-касаточки, вот вам! И того, и сего, и этого... Груня, клади, матка, живей дровец в печь! Насилу, насилу все-то дотащила.

И Груня положила дровец, растопила печку. Зажарили вареную колбасу в масле. Мать суежилась без отдыха. Груня и Вася помогали ей с усердием. Вскипятили самоварчик, достали с полочки чайник с отбитым носком, с трещинами, чашки полинялые и побурелые. Из сундука

вынули сахар в жестяной коробочке и щепотку чаю, бережно завернутую в бумажку. Чай давно уже пахнул кожей и сеном. Впрочем, он и свежий был с тем же самым ароматом.

Только Гришутка не принимал участия в общей хлопотне. Он как сел у замерзлого окошечка, так и не отходил от него. Он хмурился и скоблил ледяные узоры на разбитых оконцах. Но, очевидно, машинально скоблил, а его душа и мечты находились там, там – в этих большущих снях с мраморной лестницей, усаженной садами, уставленной большими куклами...

– Гришутка, касатик, дай скину красну рубашечку да в сундучок спрячу – до праздника. А то, не ровен час, касатик, запачкаешь, упаси Господи!

– Нет, мама, я в ней останусь...

– Запачкаешь, мол, говорю, касатик. – И мать подходит к нему, обнимает и целует – в надежде, что касатик снимет драгоценную рубашечку из красного канауса и плисовые черные шаровары, подарок крестной матери; но касатик положительно возмущается:

– Отстань, мамонька! Говорю: не замай!.. От тебя вон водкой воняет...

– А это я для куражу, для праздничка, лапушка, выпила, – оправдывается мама, быстро вертя рукой около смеющегося, красного, истрескавшегося лица.

– Ну, ладно! Отстань, мамонька, я целый день буду в эвтом ходить – вот что!

И мамонька отстала. Пушай его, думает она, уснет младенец, я его, крошечку, раздену, а теперь пушай пощеголяет, душеньку для праздника потешит.

– На-ко, сахарный, леденчиков да пряничков! – предлагает она.

И сахарный машинально, задумчиво берет леденчики и прянички. Но, очевидно, думы его слаще ему леденчиков и пряничков.

Наелись, напились – напраздничались. Пришли гости: кум, да сват, да свояченица, принесли гостинцев.

– С Новым годом, с новым счастьем. Дай Бог благополучно!..

Послали Ваню за полуштофом. Опять поставили самовар, и пошли чаи да рассказы без конца и начала...

Наконец наговорились, разошлись по домам.

Стемнело. Гришутка припрятал пакет, что мать принесла с пряниками, и в нем с десяток пряничков и леденцов. Как ни тянуло его, он ни один не съел, все припрятал с пакетом, завернув его тщательно, и все держал за пазухой.

– Мамонька! – обратился Гришутка к матери. – А там, там, где мы были, – там долго спать не ложатся?..

– У его превосходительства?.. И-и, касатик медовой, ведь они баре, – сказала она шепотом. – У них ночь вместо дня. Мы давно уже спим, а они до вторых петухов будут сидеть.

– Что ж это они делают, мамонька?!

– А вот что, касатик. Седни вечером у них елка. Большущу, большущу таку елку поставят и всю ее разуберут всякими гостинцами, конфетами, да всю как есть свеченьками уставят. Страсть хорошо! А наверху, на самом верху звезда Христова горит... Таки прелести – что и рассказать нельзя. Вот они, значит, около этой елки все соберутся и пируют.

И Гришутка еще больше задумался. Большая елка, с Христовой звездой наверху, приняла в его детском все увеличивающем представлении сказочные, чудовищные размеры.

К вечеру matka стала совсем весела. Всех, и Ваню, и Груню, и Гришутку, заставляла плясать и сама прищелкивала и припевала:

Уж я млада, млада сады садила,
Ах! Я милого дружочка поджидала...

Наконец она совсем стала сонная. Ходила покачиваясь. Все прибирала. Разбила две чашки, расплакалась, свалилась и захрапела.

– Ну, – сказал Ваня сестре, – теперь матку до завтра не разбудишь. Пойдем за ворота поглазеим.

И они, накинув тулупчик и пальтишко, вышли за ворота.

Гришутка остался один.

В комнате совсем стемнело. Он присел около печки в угол, прислонился к ней и думал упорно все об одном и том же. Темная комната перед ним вся освещалась, горела огнями. Чудовищная елка вся убиралась невиданными дивами, и все ярче горела на ней звезда Христова. Наконец воображение устало. Гришутка зевнул, съежился, прислонился ловчее к печке и крепко заснул...

Долго, долго прогуляли Груша с Ваней: бегали на большую улицу, смотрели в окна магазинов, наконец вернулись, и целые клубы пара ворвались с ними в комнату. Он обхватил, разбудил Гришутку.

Весело перешептываясь и смеясь, дети разделись и спать улеглись, а об Гришутке забыли.

Он тихонько привстал, потянулся. Подождал, пока брат и сестра заснули. Тихо, на цыпочках подошел он к своей шубке. Кое-как надел ее. Надел шапку, варежки, натянул валенки – и тихонько вышел, притворив дверь как мог плотнее.

Черная ночь обхватила его морозным воздухом. В переулке тускло мерцали фонари.

III

Он помнил только, что «его превосходительство» живет на улице, которая называется Большой Проточной, и что в эту улицу надо свернуть с Заречного проспекта.

Вышел он из переулочка на улицу и у первого попавшегося «дядюшки» спросил – как ему пройти в Большую Проточную.

– Эх ты, малыш! – сказал дядюшка. – Как же ты эку даль пойдешь? Ступай до угла, а там поверни налево... и все прямо, прямо иди, все так-таки прямо все иди, иди по проспекту-то, а там спроси – укажут, чай, добры люди... Ах ты, малыш, малыш! Смотри через улицу не переходи! Задавят... Да тебя кто послал-то?!

– Никто, дядюшка, я сам, к его пливосходительству иду...

– Сам! – удивился дядюшка и долго смотрел вслед Гришутке, а он, подобрав шубку, бежал, бежал, как было указано. Пот давно уж капал с его раскрасневшегося личика. Он шатался. Ноги ему отказывались служить...

Наконец, еле дыша, чуть не плача, подошел он к другому «дядюшке».

– Дяденька! Укажи мне, где Большая Проточная.

Дяденька поглядел на Гришутку, подумал. Нагнулся к нему.

– Считать умеешь?

– Нетути!..

– Нетути. Ну, вот что. Смотри. – И он растопырил пальцы. – Вот одна улица, другая, третья. И поверни ты в эту третью. Это и будет Большая Проточная... Понял?

– Понял! – прошептал Гришутка и с новыми силами, с новой бодростью в сердце побежал дальше.

Против первой улицы он загнул один пальчик, против второй – загнул другой, в третью повернул. Шел, шел, и вот... Да! Действительно, это был он, дом «его превосходительства». Но отчего же перед ним стоят все кареты, кареты?

Гришутка вздохнул полной грудью и поднялся на крыльцо.

С трудом он чуть-чуть отворил и протиснулся в большие дубовые двери с зеркальными стеклами. Отворил он и вторые двери и очутился в сенях.

Газовые лампы ярко горели. В сенях никого не было. Зато в швейцарской направо слышались громкие голоса и смех.

Гришутка подумал, идти ли ему к швейцару или не идти. Он боялся его большой палки с золотым шаром и больших черных бакенбард. На вешалке висело много шуб. Он скинул тулупчик, свернул его комочком и положил на пол в уголок. Затем вынул из-за пазухи гостинцы – пакетик с леденцами и пряниками – и бодро отправился вверх по мраморной лестнице.

Статуи точно смотрели на него с их пьедесталов; но он, не глядя на них, бойко всходил наверх. Маленькое его сердце колотилось в груди, голова шла кругом.

Наконец он поднялся на высокую лестницу. Там, наверху, все зеркала, зеркала – и он увидел в них себя, увидел свое покрасневшее личико с большими черными глазами.

Потом он вошел в первую залу – всю красную, раззолоченную. Пол такой скользкий и блестит как «зеркило». А там, впереди, был шум, говор, детские голоса, детский смех.

Гришутка пошел туда. Он прошел всю длинную залу и подошел к двери. Перед ним была большая, большая белая зала, и посреди ее большущая елка.

Вся она сверху донизу горела и сверкала огоньками! А на самом верху сияла большая, большая звезда Христова.

Кругом елки были дети, много детей в ярких нарядных платьицах. А кругом них стояли господа, барыни... Шум, говор, смех!..

У Гришутки потемнело в глазах. Вся зала покрылась словно туманом и закачалась. Но это было ненадолго. Он вытянул вперед ручонку с гостинцами, плотно прижал другую к груди, к колыхавшемуся сердцу и бодро пошел вперед.

Он подошел прямо к высокому седому господину.

Этот господин и был сам «его превосходительство».

– Ваше пливосходительство! – сказал внятно Гришутка. – Вот я пришел с Новым годом вас поздравить. Вот-с и гостинцы!

– Это мне? – спросил его превосходительство.

– Вам, ваше пливосходительство... А мне можно будет поиграть здесь?

Его превосходительство удивленными глазами, не переставая улыбаться, посмотрел на Гришутку, на его доброе, красивое личико с умными большими глазами.

Он смотрел, а сам развертывал серый пакетик с леденцами и пряниками.

– Да кто же ты? – спросил он с недоумением, оглядываясь кругом.

– Я Гришутка... Мама, знаете, спать легла, и все спать легли. Я все сидел да думал, сидел да думал, как бы мне посмотреть на большую елку. Взял да и пошел один. Спросил сперва одного дяденьку, потом другого дяденьку, а он растопырил этак руку – вот, говорит, одна улица, а вот другая улица и там будет третья. Ты в третью-то и ступай...

Большие и малые обступили Гришутку. Нимало не смущаясь, он осматривал всех и продолжал рассказывать.

– Да кто же твоя мама? – спросил его хозяин дома.

– А Петровна... чай, знаете?

– *Quel charmant enfant!* (Какое прелестное дитя!) – сказала одна молодая дама. – *Dieu! Quels yeux!* (Какие чудные глаза!)

– Где же живет Петровна? – спросил его превосходительство, обертываясь к дверям залы. У этих дверей стояли несколько слуг, и один скоро, скоро подошел к его превосходительству.

– Узнайте, где живет Петровна, – сказал его превосходительство.

И слуга быстро побежал, узнал и доложил, что Петровна живет на Песках, в Глухом переулке.

– Боже мой! И этакую даль ты шел один! – вскричали дамы.

– Тссс! – произнес генерал, покачав головой. – Ну, – сказал он, – Гришутка, теперь пойдем, я тебя, брат, представлю хозяйке дома. – И он повел Гришутку за руку в гостиную, в которой было не так светло и где сидели старые, почтенные дамы. – Вот, – сказал он, входя в гостиную, – рекомендую вам джентльмена с Песков. Один ночью пришел с Песков сюда, при-

шел поздравить меня с Новым годом, и вот вам – гостинцы принес... не угодно ли? – Говоря это, он любезно предложил дамам *les bonbons de Piessky*.

– *Quel délicieux enfant!* – вскричали дамы. – Прелестный ребенок: подойди, душечка, сюда... *Ravissant!*... Как же это ты один шел... И не страшно тебе было?

– Нет, – сказал Гришутка. – Я, знаете, все бежал, бежал так шибко, шибко. Одного дяденьку спрашиваю, где, мол, Заречный проспект, а он говорит: тебя, мол, говорит, кто послал?..

– Да тебе сколько лет-то? Клоп ты с Песков!.. – спросил вдруг его превосходительство.

– Мне сёмой...

– *Qu'est ce que ça... сёмой – quel baragouin!*

– Вот, княгиня, – обратилась хозяйка к старой, больной даме. – Вы искали воспитанника. Вот вам сирота, изволите видеть... один в одиннадцатом часу с Песков пришел. Можете вы себе представить... один, один... с Песков пришел.

Княгиня взяла Гришутку за ручку и притянула к себе... Она посмотрела в его личико. Гришутка пристально посмотрел на нее...

– Знаешь что, Гриша, – сказала она, – это не сам ты пришел, а Бог привел тебя... ты любишь Бога?..

– Для чего не любить. Я всех люблю, коли кто добрый. А вот у нас дворник Наумыч, чай, знаете, он злющий, все маму бранит. Я его не люблю.

– А меня будешь любить?

– Тебя-то?

Он пристально посмотрел на добрые, полусонные глаза княгини.

– Ладно. Для чего не любить.

Говоря это, он тщательно рассматривал вышитый ридикюль княгини и кисти его из стального бисера.

– Ну! Гришутка с Песков, – сказал генерал, – пойдем теперь в залу. За твои гостинцы я тебе сам дам гостинца. – И, взявши опять Гришутку за ручку, он привел его к елке.

– Ну, чего хочешь? Выбирай!

Пред Гришуткой запестрели нарядные бонбоньерки, корзиночки, игрушки – все как жар золотом горело и рябило глаза. Но Гришутка твердо помнил одно то, что занимало его целый вечер.

– Мне, дяденька, ваше превосходительство, – сказал он, – Христову звезду дайте.

– Какую Христову звезду? – спросил удивленно его превосходительство.

– Вон, вон, на самой вершинке-то – така, как жар горит!

– О-о-о, чего захотел! Самой вершинки захотел. Ах ты, клоп с Песков!.. Да как же я достану до звезды-то Христовой?. Видишь, видишь... я еще не дорос до нее...

– А вы, дяденька, ваше превосходительство, велите лестницу принести. Такую большую, у нас есть на Песках така лестница, что по крышам лазают.

– Ха! ха! ха! – засмеялся его превосходительство, и все дети дружно захохотали кругом.

– Ну, я велю принести лестницу, – сказал его превосходительство, – только, думаю, такая лестница и здесь найдется, за ней не надо на Пески ходить.

И он велел принести лестницу.

Принесли ее три лакея и подкатали как раз к елке.

– Ну, – сказал генерал, – Гришутка с Песков, вот тебе и лестница. Теперь, если хочешь, полезай сам и доставай Христову звезду.

И Гришутка бодро кинулся на лестницу. Бойко взошел он на нее. Но ручонка не доставала до звезды.

Недолго думая он схватил ближайшую ветку и потянул к себе. Несколько свечек упало, несколько золоченых яблоков и орехов полетело вниз; но Гришутка крепко схватился за звезду, изо всех сил потянул ее, и звезда осталась у него в руке.

Высоко подняв звезду над головой, весь красный от волнения, весь дрожа, он начал спускаться с лестницы. Дети и барыни закричали «браво, браво!» и громко захлопали в ладоши.

Гришутка спустился с своим сокровищем.

– Ну, – сказал его превосходительство, – молодец, Гришутка с Песков! Знаешь ли, что это за звезда?

Гришутка ничего не отвечал. Он тяжело дышал.

– Эта звезда будет твоей путеводной звездой – понимаешь? – твоей путеводной звездой. Она тебя выведет на дорогу. Береги ее!

IV

Прошло много, много лет.

Давным-давно не стало матери Гриши. Не стало Груни и Васи. Умер его превосходительство и княгиня-воспитательница Гриши, а сам Гриша из Гришутки давно превратился в Григория Васильевича и сам стал «его превосходительство».

Он даже поселился на Большой Проточной, недалеко от прежнего дома его превосходительства, от того самого дома, в котором он добыл когда-то свою «путеводную звезду».

Он жил в третьем этаже на большой лестнице; на ней также стояли статуи и большие растения. И эта лестница была общая для всех этажей и всех квартирантов.

В квартире была большая передняя и несколько комнат, светлых, чистых и просторных.

У него была добрая старушка жена, три взрослые дочери и две внучки.

Всю жизнь его вела «путеводная звезда» по светлой прямой дороге. Он всю жизнь хлопотал о том, как бы устроить для всех Гришуток приюты, где бы они воспитывались и выходили в люди не по прихоти случая или «путеводной звезды».

Он думал, что придет наконец то блаженное время, когда не будет глухих закоулков на разных «Песках» и люди не будут жить в подвальных этажах, подле помойных ям и мерзнуть от холода в зимние морозы.

Он много трудился над этим делом – и теперь почти пятьдесят лет прошло с тех пор, как он в первый раз выступил на эту дорогу.

Много было основано им всяких благотворительных обществ и учреждений, много построено всяких благодетельных зданий и заведений. Но чем более он их строил, тем дальше уходила от него цель, за которой он гонялся, как мальчик за тенью.

Пятьдесят лет тому назад он вышел на смертный бой с тем чудовищем, которое зовут людской бедностью.

Он бился с ним ровно полвека, и что же?.. Чем больше он бился, тем больше вырастало чудовище. Он строил новые учреждения, и новые головы вырастали у чудовища, как у гидры.

Город разросся. Но не исчезли его «Пески» и глухие закоулки. Они только отодвинулись на новые окраины, а в самом центре завелись углы и подвалы – грязные закоулки и разные помойные ямы. Завелись целые приюты нищеты и разврата...

Он чувствовал, как руки его опускались, – он, семидесятилетний старик, чувствовал, что борьба кончилась, что победило его страшное чудовище.

Грустный, испуганный, сидел он один в своем кабинете, накануне Нового года, опустив на руки свою седую голову.

А в зале раздавались веселые голоса, детский смех.

Но ничего не слышал он. Не сводя глаз, он смотрел прямо, упорно, и глаза его в ужасе раскрывались шире и шире.

Перед ним стояло отвратительное чудовище – грязное, худое. Оно дрожало от холода и едва ворочало коснеющим языком. Его костлявое тело выглядывало из множества дыр обдерганного, обтрепанного рубища.

А сзади его, смеясь, самодовольно шло другое чудовище, еще более отвратительное, – чудовище, страшное своей бесчеловечностью и силой. Оно хохотало пронзительно – и при этом тряслись его длинные пейсы и остроконечная борода...

Оно шло на смену и было непобедимо...

Нестерпимый ужас охватывал сердце.

– «Путеводная звезда», – шептал он, – «путеводная звезда», куда ты меня привела?!!

И он смотрел с укором на эту «путеводную звезду», на это воспоминание из его далекого детства. Она висела перед ним на стене, обделанная в золотую рамочку.

Но в это время в соседней комнате раздались детские голоса, и в кабинет к нему ворвалась веселая компания.

Впереди всех бежали две его внучки с бокалами в руках, с букетами белых роз.

– С Новым годом, деда, с Новым годом!.. С новым счастьем! – И они обе обхватили его шею...

Подожли дочери, подошла и жена – и обняла его голову.

– С Новым годом, старик! – сказала она, целуя его.

Но старик ничего не ответил... Только горькие слезы тихо катились по его доброму старческому лицу...

1906

Алексей Хомяков (1806–1860)

«В эту ночь земля была в волнении...»

В эту ночь земля была в волнении:
Блеск большой диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.

Овцы, спавшие на горном склоне,
Пробудившись, увидали там:
Кто-то светлый, в огненном хитоне
Подошел к дрожащим пастухам.

А в пустыне наблюдали львицы,
Как дарами дивными полны
Двигались бесшумно колесницы,
Важно шли верблюды и слоны.

И в числе большого каравана,
Устремивши взоры в небосклон,
Три царя в затейливых тюрбанах
Ехали к кому-то на поклон.

А в пещере, где всю ночь не гасли
Факелы, мигая и чадя,
Белые ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.

В эту ночь вся тварь была в волнении:
Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благословенье,
Наступленье мира на земле.

Петр Ершов (1815–1869)

Ночь на Рождество Христово

Светлое небо покрылось туманною
ризою ночи;
Месяц сокрылся в волнистых изгибах хитона
ночного;
В далеком пространстве небес затерялась
зарница;
Звезды не блещут.
Поля и луга Вифлеема омыты вечерней росой;
С цветов ароматных лениво восходит в эфир
дым благовонный;
Кипарисы курятся.
Тихо бегут сребровидные волны реки
Иордана;
Недвижно лежат на покате стада овец
мягкорунных;
Под пальмой сидят пастухи Вифлеема.
Первый пастух:
Слава Седящему в вышних пределах Востока!
Не знаю, к чему, Нафанаил, а сердце мое
утопает в восторге;
Как агнец в долине, как легкий олень
на Ливане, как ключ Элеонский, —
Так сердце мое и бьется, и скачет.
Второй пастух:
Приятно в полудни, Аггей, отдохнуть
под сенью Ливанского кедра;
Приятно по долгой разлуке увидеться
с близкими сердцу;
Но что я теперь ощущаю... Словами нельзя
изъяснить...
Как будто бы небо небес в душе у меня
поместилось;
Как будто бы в сердце носил я
Всезрящего Бога.
Первый пастух:
Друзья! воспоем Иегову,
Столь мудро создавшего землю,
Простершего небо шатром над водами;
Душисты цветы Вифлеема,
Душист аромат кипариса;

Но песни и гимны для Бога душистей
всех жертв и курений.
И пастыри дружно воспели могущество Бога
И чудо творений, и древние лета...
Как звуки тимпана, как светлые воды —
их голоса разливались в пространстве.
Вдруг небеса осветились, —
И новое солнце, звезда Вифлеема, раздрав
полуночную ризу небес,
Явилась над мрачным вертепом,
И ангелы стройно воспели хвалебные гимны
во славу рожденного Бога,
И, громко всплеснув, Иордан прокатил
сребровидные воды...
Первый пастух:
Я вижу блестящую новую звезду!
Второй пастух:
Я слышу хвалебные гимны!
Третий пастух:
Не Бог ли нисходит с Сиона?..
И вот от пределов Востока является ангел:
Криле позлащены, эфирный хитон на раменах,
Веселье во взорах, небесная радость в улыбке,
Лучи от лица, как молнии, блещут.
Ангел:
Мир приношу вам и радость, чада Адама!
Пастухи:
О, кто ты, небесный посланник?.. Сиянье лица
твоего ослепляет бранные очи...
Не ты ль Моисей, из Египта изведший нас
древле
В землю, кипящую млеком и медом?
Ангел:
Нет, я Гавриил, предстоящий пред Богом,
И послан к вам возвестить бесконечную
радость.
Свершилась превечная тайна: Бог во плоти
Пастухи:
Мессия?.. О радостный вестник, приход твой
от Бога!
Но где, покажи нам, небесный Младенец,
да можем ему поклониться?
Ангел:
Идите в вертеп Вифлеемский.
Превечное Слово, его же пространство небес
не вмещало, покоится в яслях.
И ангел сокрылся!
И пастыри спешно идут с жезлами к вертепу.
Звезда Вифлеема горела над входом вертепа.

Ангелы пели: «Слава сущему в вышних! мир
на земли, благодать в человеках!»
Пастыри входят – и зрят непорочную Матерь
при яслях,
И Бога Младенца, повитого чистой рукою
Марии,
Иосифа-старца, вперившего очи
в Превечное Слово...
И пастыри, пад, поклонились.

1834

Федор Достоевский (1821–1881)

Мальчик у Христа на елке

I

Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, – значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит – просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, – стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

...и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал...

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он зарабатывает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – голод, холод, побои, – только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, всё факты.

II

Мальчик у Христа на елке

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в *каком-то* огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потомдохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь – Господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, – ох, какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг

дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!...» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, – о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, – но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это «Христова елка», – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки...

И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и Он Сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но

вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

1876

Федор Достоевский (1821–1881)

Божий дар

Крошку-Ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдешь ты через ельник,—
Он с улыбкою сказал, —
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне».

И смутился Ангел-крошка:
«Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?»
«Сам увидишь», – Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.

Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет...
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет...
Загляните в окна сами, —
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.

И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей —
Все при виде Божьей елки,
Всё забыв, тянулись к ней.

Кто кричит: «Я елки стою!»
Кто корит за то его:
«Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!»

«Нет, я елочки достойна
И достойнее других!»
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.

Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел... «Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!»

И на улице встречает
Ангел крошку, – он стоит,
Елку Божью озирает, —
И восторгом взор горит.
«Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой елки недостоин
И она не для меня...

Но неси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, —
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!» —
Мальчик Ангелу шепнул.
И с улыбкой Ангел ясный
Елку крошке протянул.

И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, —
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган...

И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принес.

Евгений Поселянин (1870–1931)

Николка

Все для разговенья было готово. Пирог подрумянился, и от одного вида хорошо поджаренной, промасленной корки становилось сладко; жирный кусок баранины распространял по избе заманчивой запах; из выставленного только что из печи горшка с горящими щами шел густой пар. В избе было почти все прибрано. В святом углу с почерневшей большою иконой Скорбящей и новенькими образами в бумажных ризах засвечена была лампадка.

Сквозь окна уже почти не видно было света. День быстро скрывался. Михайла во дворе запрягал дровни. Пора было собираться ко всенощной. Ехать нужно было не в приход, а в большое село Трехбратское, лежавшее от деревни верстах в двенадцати. Там был храмовый праздник.

Хозяйка Михайлы, Марья, ухватистая, высокая румяная баба, быстро довершала уборку избы. Выставив из печи на стол жареное и пирог, она прикрыла их и крикнула пасынку своему, Николке, мальчику лет семи, чтобы вынес в сени кошку и не пускал ее в избу, а то еще вздумает полакомиться их разговеньем. Покончив с приготовлением к завтрашнему обеду, Марья стала обряджаться. Она была из зажиточного дома в Трехбратском и любила показать себя лицом. Не хотелось ей в такой день выезжать кое в чем. И когда надела она цветной сарафан с дутыми серебряными пуговками, голову повязала красным шелковым платком, накинула тулуп, крытый тонким синим сукном, то стала еще величавее и пригляднее.

Вошел в избу Михайла, пустив за собою клубья морозного воздуха, и тоже начал одеваться по-праздничному. Только у Николы не было ничего нового. Все же он надел вымытую рубаху и, напялив свой заплатаанный полушубок, стоя в углу, бережно оправлял мятый картуз, который в обыкновенные дни надевал на голову, не заботясь об его виде. Михайла несколько раз украдкой взглянул на сынишку. Может быть, ему стало жаль, что у него нет к празднику обновы. Он мог также думать, что было бы иначе, если бы жива была мать Николки. Сам же Николка не думал ни о мамке, ни об обновах. Он старался стоять как можно тише, чтобы чем-нибудь не рассердить мачеху. Он был очень рад, что его берут в село, и ему хотелось поскорее сесть на дровни, где его уже не за что будет бранить.

В Трехбратском должны были заночевать у родных Марьи и только уже после обедни вернуться домой. Все это очень занимало Николку. Изготовившись, Михайла поплотнее завернулся сверх полушубка в широкий армяк и покрепче подпоясался. Марья устроила у себя на груди своего годовалого ребенка, загасила огонь, оставив одну лампадку, и все вышли наружу, Михайла с Марьей поместились спереди, а Николка с большим удобством прилег сзади, и так поехали.

Сытая, сильная лошадь бежала весело. Схваченный суровым морозом снег визжал под полозом, дровни скользили ровно и плавно. На густом ворохе соломы и покрытым еще сверху старым отцовским кафтаном Николке, было тепло. Сперва он долго глядел то вверх, на небо, сверкавшее бесчисленными, все продолжавшими сыпать звездами, то на огоньки в избах встречных деревень, то в темноватую даль, и с боков, и спереди, и сзади обступавшую дровни. Потом от ровной езды и от той тишины, в которой они ехали, Николка стал дремать. Сквозь забытие чувствовал он, что дровни въезжали уже в лес и что если б он был один, ему бы тут стало страшно, а со своей семьей на дровнях здесь было еще лучше, чем в поле. С обеих сторон точно обнимали узкую дорогу громадные сосны и редкие лиственные деревья, и прежняя тишина сменилась каким-то странным и загадочным непрерывным шепотом. Бог весть, о чем думал Николка.

Хотелось бы ему лета, когда в этом самом лесу, на полянках, в траве, распускались цветы и зрели ягоды, а близ кочек подымались грибы, или думал он о селе, горящей огнями церкви с громким пением и праздничным народом, или хотелось ему, чтобы кто-нибудь приласкал его. Но сладко было в этот вечер Николке дремать на дровнях, среди леса, под убаюкивающее визжание полозьев.

Вдруг что-то потянуло его оглянуться назад. Высвободив голову из-под кафтана, он посмотрел на дорогу. Не очень далеко от дровней бежало что-то разбросанное, черное, и из этого черного светились как будто прыгающие огоньки. Николке стало страшно. Он быстро поднялся в дровнях на колени и заглянул через отца на лошадь. Лошадь дрожала, уши ее поднялись, и она трусливо водила ими.

– Чего ворочаешься-то? – спросила недовольно мачеха. В ее голосе слышалась тревога.

Николка обернулся еще раз назад. Огоньки приближались. Уже ясно слышался шум надвигающейся массы.

– Тятка, волки! – закричал Николка.

Михайла видел все. Он почувствовал опасность, когда лошадь насторожила уши, и, зная, что делать тут нечего, только молил Бога унести их от беды. Он надеялся лишь на одно: что волков мало или что кто-нибудь подъедет сзади и они отобьются вместе. Погоняя лошадь, он оглянулся назад: целая стая волков гналась за ними. Лошадь бежала изо всех сил, но расстояние между стаей и дровнями становилось все меньше.

– Держись, – закричал Михайла, – все кучкой сидите. Бог милостив, может, уедем! – И, приподнявшись, он стал неистово, до крови, нахлестывать лошадь.

Высоко забросив голову, лошадь точно стлалась над землей. В смертельном ужасе прижимая к себе ребенка, Марья смотрела вперед. Михайла то и дело оборачивался. За спиной Марьи, лицом к волкам, стоял на коленях Николка. Ему уже было слышно дыхание зверей. Он понимал, что, когда волки совсем нагонят, они бросятся на него первого. Он не плакал, не кричал, не бился, но весь замер.

– Николку, Николку держи! – кричал Марье Михайла. Но Марья все сидела неподвижно. Волки настигали.

Морда переднего волка касалась уже дровней. Через мгновение он бежал с ними в уровень. Скоро дровни должны были очутиться в самой середине стаи. Ужасные огоньки волчьих глаз мелькали со всех сторон, слышалось тяжелое дыхание страшных зверей. Вдруг Марья поднялась и, одной рукой продолжая придерживать своего ребенка, другою со страшной силой подняла за полушубок Николку и с безумным криком швырнула им в волков.

«Тятка, тятка!» – раздалось в воздухе.

Но дровни летели дальше. Обезумевшая лошадь несла их неудержимо. Был ли затемнен ум Михайлы, не слышал ли он, как зовет его сынишка, но он все хлестал бесившуюся лошадь. А там, сзади, чернела на белом снегу стая, окружившая сброшенного с дровней мальчишку.

Когда мачеха сбросила Николку волкам, кроме безграничного ужаса, мертвящим холодом прохватившего его до костей, он ясно осознавал: «съедят». И, закрыв глаза, лежал на земле, не пытаясь встать. Между тем все было тихо. Оттого что волки не бросились на него сразу, ему стало еще страшнее. Со страшным усилием, как бы ожидая воочию увидеть свою смерть, он осмелился открыть глаза. Волков не было. На снегу было тепло.

И вдруг что-то радостное, такое, чего он не испытывал еще никогда в жизни, охватило мальчика. Почему-то ему стало ясно, что он спасен. Какая-то сила стояла вокруг него в лесу, меж деревьев, лилась с высокого неба, и эта сила ласкала и оживляла его. Эта сила смела куда-то страшную стаю волков и торжествующая наполняла благоволением и радостью весь лес. То была какая-то бесплотная сила. Она неслась над землей и разливала вокруг себя успокоение и отраду. И там, куда приближалась она, белее стлалась снежная пелена, горячее и приветливее светили с неба звезды, и все с ликованием встречало сошествие чудного Младенца. Земля

чуяла эту животворящую силу. И пред ее шествием седые сосны склоняли свои гордые вершины, а под снежным саваном та сила совершала невыразимые вещи.

По деревьям от корней потекли живые соки, на лугах снег покрывался зеленой свежей травой, зацветали цветы. Нежный подснежник, чистый ландыш, белая ромашка, голубая незабудка, полная благоухающей влаги фиалка проросли там, где за минуту лежал мерзлый снег, и в лиловых чашечках колокольчиков слышался веселый тоненький звон...

Рои легких стрекоз с прозрачными крыльями и легких бабочек кружились над расцветшими вокруг цветами...

Подняв ледяную, мгновенно растаявшую кору, журчали светлые ручьи, спеша скорее добежать до больших рек, до дальнего теплого моря...

И всюду, где проходила та сила, была торжествующая бессмертная жизнь, и не было там ни смерти, ни горя, ни сожаления...

И над всем этим просветлением и радостью шла она, всепрощающая, победоносная сила...

Вокруг нее слышался тихий полет чьих-то легких крыльев, доносились отголоски какой-то песни, когда-то давно, в такую же ночь, спетой с неба бедной освобожденной земле и услышанной тогда несколькими пастухами...

В больших городах суетою были заглушены те отголоски, но в лесу им внимала пробужденная природа, вторившая им радостным ропотом жизни, да спасенный тою силою деревенский мальчик. И, когда прошла она, снова холодно, тихо и грозно было в лесу. Не стало в нем ни журчащего ручья, ни только что расцветших цветов, ни порхающих бабочек...

Не было также мальчика...

Только следы полозьев да волчьих лап были по-прежнему на снегу, да весело мигали с неба ясные звезды, да старые сосны неспешно завели непонятную речь о том, что они видели...

Ускакав от волков, Михайла и Марья были в самом ужасном положении. Страшное пустое место в дровнях, где лежал, когда они выехали со двора, Николка, зияло перед ними грозным обличием. Они не смели вернуться назад высвободить Николку. И страшно было ехать вперед, страшно подумать о церкви. В головах у них было туманно. Они не перемолвились ни одним словом и, сумрачные, въехали в село.

Издали в ночной морозной тишине доносился благовест звучного колокола. Скоро открылась церковь, расположенная поодаль барского дома на высоком, издали видном месте. Около церкви стоял гул еще не успевшего войти внутрь народа. Здравствование и перебрасывание словами, окрики на лошадей, визг полозьев и шагов по затвердевшему снегу отчетливо раздавались в застывшем и неподвижном от холода воздухе. Мальчики плясали по снегу, чтобы согреться, и дули в пальцы; пришедшие пешком присаживались отдохнуть на выступ каменной ограды; входившие в церковь снимали на паперти с высокою крышей шапки и крестились. Сквозь стеклянные широкие двери виден был изнутри яркий свет и колыхающаяся толпа.

Только Михайла и Марья без радости, с тяжелым сердцем, вошли в церковь. Еще на селе им показалось, что парень во дворе у родных, которому они сдали лошадь, смотрит на них подозрительно. Не могли они отвечать никому, кто здоровался с ними; не смели никому глядеть в глаза, не смели пройти вперед и остановились неподалеку от дверей.

Прямо перед ними был алтарь. Много свечей пылало перед местными иконами, к ним прибавлялись все новые, а они не смели и подать на свечу. Михайла тосковал по сынишке, а Марья терзалась жгучим раскаянием.

Ей чудилась другая женщина, мать Николки, и эта женщина смотрела на нее неотступно грустными глазами, и в ушах Марьи слышался ужасный шепот: «Что ты с ним сделала?»

Служба шла. Отчитали Шестопсалмие; открылись потом Царские врата; притч вышел к иконе на середину церкви, и раздалось величание родившемуся Младенцу. Потом пошли

кадить в алтарь, и голоса детей из сельской школы тихо и стройно стали повторять слова величания. В это время Марья, широко раскрытыми глазами смотревшая вперед, дернула мужа.

– Видишь, – сказала она, чуть не задыхаясь, – Николки душенька по церкви ходит.

– Вижу, – отозвался Михайла.

Действительно, Николка в старом полушубке и валенках, держа в руках старый картузишко, видимо только для Михайлы и Марьи, ходил по церкви. Он шел за священником, входил за ним в алтарь, вышел назад и пошел за ним по церкви. И, когда священник, недалеко от Михайлы и Марьи, покадил в их сторону, шедший за священником Николка низко им поклонился.

– Поедем домой. Мочи нет моей, – шепнула Марья мужу, и они вышли из церкви и поехали домой другим путем.

Не смела Марья молиться, но в уме ее стояла одна мысль, что Бог велик и что Он мог бы сделать так, как будто ничего этого не было. С сокрушенной душой, сознавая себя последнею из грешниц, входила она в избу. Лампада теплилась перед иконой Скорбящей и образами в золотых бумажках. На лавке под образами тихо спал в полушубке, картузишке и валенках живой, невредимый Николка...

А по всей вселенной всю ту ночь ходила великая Божия сила.

1910-е

Теофиль Готье (1811–1872)

Рождество

В полях сугробы снеговые,
Но брось же, колокол, свой крик —
Родился Иисус; – Мария
Над ним склоняет милый лик.
Узорный полог не устроен
Дитя от холода хранить,
И только свесилась с устоев
Дрожащей паутины нить.
Дрожит под легким одеяньем
Ребенок крохотный – Христос,
Осел и бык, чтоб греть дыханьем,
К нему склонили теплый нос.
На крыше снеговые горы,
Сквозь них не видно ничего...
И в белом ангельские хоры
Поют крестьянам: «Рождество!»

Перевод Николая Гумилёва

Семен Киснемский (1859–1906)

«Лежит Он в яслях, тих, прекрасен...»

Лежит Он в яслях, тих, прекрасен,
С улыбкой дивной на устах,
И Божий Промысел так ясен
В Его Божественных чертах.
Пред Ним в раздумии глубоком
Сидит Его Святая Мать
И зрит в чертах духовным оком
Страданий будущих печать!..
И в этот час Его Рожденья,
Великой ночи поздний час,
Раздался с неба трубный глас
И хора ангельское пенье, —
То хоры ангелов толпой,
Слетевши к Божьему чертогу,
Запели «Слава в вышних Богу», —
И песне дивной и святой
Природа чуткая внимала
И вся, казалось, трепетала,
Исполнясь радостью живой.

1905

Братья Гримм **(Якоб 1785–1863 и Вильгельм 1786–1859)** **Дитя Марии**

На опушке большого леса жил дровосек со своею женой, и было у них единственное дитя – трехлетняя девочка. Были они так бедны, что даже без хлеба насущного сиживали и не знали, чем прокормить ребенка.

Однажды поутру дровосек, подавленный своими заботами, отправился на работу в лес. Стал он там рубить дрова, как вдруг появилась перед ним прекрасная высокая женщина с венцом из ярких звезд на голове и сказала: «Я Дева Мария, Мать Младенца Христа. Ты беден, обременен нуждою. Принеси мне свое дитя: я возьму его с собою, буду ему матерью и стану о нем заботиться».

Послушался ее дровосек, принес дитя свое и вручил его Деве Марии, которая и взяла его с собой на небо.

Хорошо там зажило дитя: ело пряники сахарные, пило сладкое молоко, в золотые одежды одевалось, и ангелы играли с ним.

Когда же девочке исполнилось четырнадцать лет, позвала ее однажды к себе Дева Мария и сказала: «Милое дитя, предстоит мне путь неблизкий; так вот, возьми ты на хранение ключи от тринадцати дверей Царства Небесного. Двенадцать дверей можешь отпирать и осматривать все великолепие, но тринадцатую дверь, что вот этим маленьким ключиком отпирается, запрещаю тебе отпирать! Не отпирай ее, не то будешь несчастною!»

Девочка обещала быть послушною, и затем, когда Дева Мария удалилась, она начала осматривать обители Небесного Царства.

Каждый день отпирала она по одной двери, пока не обошла все двенадцать обителей. В каждой сидел апостол в великом сиянии, и девочка радовалась всей этой пышности и великолепию, и ангелы, всюду ее сопровождавшие, радовались вместе с нею.

И вот осталась замкнутою только одна запретная дверь; а девочке очень хотелось узнать, что за нею скрыто, и она сказала ангелам: «Совсем отворять я ее не стану и входить туда не буду, а лишь приотворю настолько, чтобы мы хоть в щелочку могли что-нибудь увидеть». «Ах, нет! – отвечали ангелы. – Это был бы грех: Дева Мария запретила, это может грозить нам великим несчастьем».

Тогда она замолчала, да желание-то в сердце ее не замолкло, а грызло и побуждало ее и не давало ей покоя.

И вот однажды, когда все ангелы отлучились, она подумала: «Я одна-одинешенька теперь и могла бы туда заглянуть: никто ведь об этом не узнает».

Отыскала она ключ, взяла его в руку, вложила в замочную скважину, а вставив, повернула. Мигом распахнулась дверь, и увидала она там Пресвятую Троицу, восседающую в пламени и блеске. Мгновение простояла девочка в изумлении, а затем слегка дотронулась пальцем до этого сияния, и палец ее стал совсем золотым.

Тут ее охватил сильный страх, она быстро захлопнула дверь и убежала. Но что ни делала она, как ни металась – не проходил ее страх, сердце все продолжало биться и не могло успокоиться; да и золото не сходило с пальца, как она ни мыла и ни терла его.

Вскоре вернулась Дева Мария из своего путешествия, позвала к себе девочку и потребовала обратно ключи от неба.

Когда девочка подавала связку, взглянула ей Присно-дева в глаза и спросила: «Не отпирала ли ты и тринадцатую дверь?» – «Нет».

Тогда возложила ей Владычица руку свою на сердце, почувствовала, как оно бьется, и увидала, что запрещение было нарушено и дверь была отперта.

В другой раз спросила Царица Небесная: «Вправду ль ты этого не делала?» – «Нет», – отвечала вторично девочка.

Тогда взглянула Приснодева на палец ее, позлащенный от прикосновения к небесному пламени, ясно увидела, что девочка согрешила, и спросила ее в третий раз: «Ты точно не делала этого?» И в третий раз отвечала девочка: «Нет».

Тогда сказала Дева Мария: «Ты ослушалась меня да вдобавок еще солгала, а потому недостойна больше оставаться на небе!»

И девочка погрузилась в глубокий сон, а когда проснулась, то лежала внизу, на земле, в пустынной глуши. Она хотела позвать на помощь, но не могла произнести ни звука. Вскочила она и хотела бежать, но в какую сторону ни поворачивалась, везде перед ней возникал стоявший стеною густой терновник, через который она не могла пробраться.

В этой глуши, где она оказалась как бы в плену, стояло старое дуплистое дерево: оно должно было служить ей жилищем. Вползала она туда и спала в дупле, когда наступала ночь; там же в дождь и грозу находила она себе приют.

Но это была жалкая жизнь. Горько плакала девочка, вспоминая о том, как ей хорошо было на небе и как с нею играли ангелы.

Единственной пищей служили ей коренья и лесные ягоды. Осенью собирала она опавшие орехи и листья и относила их в свое дупло: орехами питалась зимой, а когда все кругом покрывалось снегом и льдом, она заползала, как жалкий зверек, во все эти листья, чтобы укрыться от холода.

Одежда ее скоро изорвалась и лохмотьями свалилась с ее тела. Когда же солнышко снова начинало пригревать, она выходила из своего убежища и садилась под деревом, прикрытая своими длинными волосами, словно плащом.

Так прозябала она год за годом, испытывая бедствия и страдания земного существования.

Однажды, когда деревья снова нарядились в свежую зелень, король той страны, охотясь в лесу, преследовал дикую козу, и так как она убежала в кусты, окаймлявшие прогалину со старым деревом, он сошел с коня и мечом прорубил себе путь в зарослях.

Пробившись наконец сквозь эти дебри, он увидел дивно прекрасную девушку, сидевшую под деревом и с головы до пят покрытую волнами своих золотистых волос.

Он остановился, безмолвно, с изумлением вглядываясь в нее, а затем спросил: «Кто ты такая и зачем сидишь ты здесь, в пустыне?»

Она ничего не ответила, потому что уст не могла открыть. Король продолжал: «Хочешь ли ты идти со мной, в мой замок?» На это она ответила только легким кивком головы.

Тогда взял ее король на руки, донес до своего коня и поехал с нею домой, а когда прибыл в свой королевский дворец, приказал облечь ее в пышные одежды и всем наделил ее в изобилии. И хоть она говорить не могла, но была так пленительно прекрасна, что король полюбил ее всем сердцем и немного спустя женился на ней.

Минуло около года, и королева родила сына. И вот ночью, как она лежала одна в постели, явилась ей Дева Мария и сказала: «Если ты мне всю правду скажешь и повинись в том, что отворяла запретную дверь, то я открою уста твои и возвращу тебе дар слова; если же ты в грехе своем станешь упорствовать и настойчиво отрицать свою вину, я возьму у тебя твоего новорожденного ребенка».

Королева получила возможность сказать правду, но она упорствовала и опять сказала: «Нет, я не отпирала запретной двери». Тогда Пресвятая Дева взяла из рук ее новорожденного младенца и скрылась с ним.

Наутро, когда ребенка нигде не могли найти, поднялся ропот в народе: «Королева-де людоедка, родное дитя извела». Она все слышала, да ничего возразить против этого не могла; король же не хотел этому верить, потому что крепко любил ее.

Через год еще сын родился у королевы, и опять ночью вошла к ней Пресвятая Дева и сказала: «Согласна ль ты покаяться в том, что отпирала запретную дверь? Признаешься, так я тебе первенца твоего отдам и возвращу дар слова; если же будешь упорствовать в грехе и отрицать вину свою, отниму у тебя и этого новорожденного младенца». Снова отвечала королева: «Нет, не отпирала я запретной двери». И взяла Владычица из рук ее дитя и вознеслась с ним на небеса. Наутро, когда вновь оказалось, что и это дитя исчезло, народ уже открыто говорил, что королева сожрала его, и королевские советники потребовали суда над нею.

Но король так ее любил, что все не хотел верить обвинению и повелел своим советникам под страхом смертной казни, чтобы они об этом и заикаться не смели.

На следующий год родила королева прехорошенькую девочку и в третий раз явилась ей ночью Пресвятая Дева Мария и сказала: «Следуй за мною!»

Взяла Владычица королеву за руку, повела на небо и показала ей там обоих ее старших детей: они встретили ее веселым смехом, играя державным яблоком Святой Девы.

Возрадовалась королева, глядя на них, а Пресвятая Дева сказала: «Ужели до сих пор не смягчилось твое сердце? Если ты признаешься, что отпирала запретную дверь, я возвращу тебе обоих твоих сыночков».

Но королева в третий раз отвечала: «Нет, не отпирала я запретной двери».

Тогда Владычица снова опустила ее на землю и отняла у нее и третье дитя.

Когда на следующее утро разнеслась весть об исчезновении новорожденной королевны, народ громко завопил: «Королева – людоедка! Ее следует казнить!» И король уже не мог более противиться своим советникам.

Нарядили над королевою суд, а так как она не могла ни слова в защиту свою вымолвить, то присудили ее к сожжению на костре.

Навалили дров, и, когда вокруг королевы, крепко привязанной к столбу, со всех сторон стало подыматься пламя, растаял твердый лед ее гордыни и раскаянье наполнило ее сердце.

Она подумала: «О, если б я могла хоть перед смертью покаяться в том, что отворяла дверь!» Тогда вернулся к ней голос, и она громко воскликнула: «Да, Пресвятая Мария, я совершила это!»

И в тот же миг полился дождь с небес и потушил пламя; ослепительный свет осиял осужденную, и Дева Мария сошла на землю с ее новорожденною дочерью на руках и обоими сыночками по сторонам.

И сказала ей Владычица ласково: «Кто сознается и раскаивается в своем грехе, тому грех прощается!»

Отдала ей Приснодева всех троих детей, возвратила дар слова и осчастливила ее на всю жизнь.

1812

Максимилиан Волошин (1877–1932)

Реймская Богоматерь

*Vue de trois-quarts, la Cathédrale de Reims
évoque une grande figure de femme agenouillée, en
prière.*

Rodin¹¹

Марье Самойловне Цетлин

В минуты грусти просветленной
Народы созерцать могли
Ее – коленопреклоненной
Средь виноградников Земли.

И всех, кто сном земли недужен,
Ее целила благодать,
И шли волхвы, чтоб увидеть
Ее – жемчужину жемчужин.

Она несла свою печаль,
Одета в каменные ткани,
Прозрачно-серые, как даль
Спокойных овидей Шампани.

И соткан был ее покров
Из жемчуга лугов поемных,
Туманных утр и облаков,
Дождей хрустальных, ливней темных.

Одежд ее чудесный сон,
Небесным светом опален,
Горел в сияньи малых радуг,
Сердца мерцали алых роз,
И светотень курчавых складок
Струилась прядями волос.

Земными создана руками,
Ее лугами и реками,
Ее предутренними снами,
Ее вечерней тишиной.

¹¹ Видимый на три четверти, Реймский собор напоминает огромную фигуру женщины, коленопреклоненной в молитве.
Роден (фр.).

...И, обнажив, ее распяли...
Огонь лизал и стрелы рвали
Святую плоть... Но по ночам,
В порыве безысходной муки,
Ее обугленные руки
Простерты к зимним небесам.

19 февраля 1915
Париж

Хвала Богоматери

Тайна тайн непостижимая,
Глубь глубин необозримая,
Высота невосходимая,
Радость радости земной,
Торжество непобедимое.
Ангельски дориносимая
Над родимую землей
Купина Неопалимая.

Херувимов всех Честнейшая,
Без сравнения Славнейшая
Огнезрачных Серафим,
Очистилище чистейшее.
Госпожа Всенепорочная,
Без исленья Бога родшая,
Незакатная звезда.
Радуйся, о Благодатная,
Ты молитвы влага росная,
Живоносная вода.

Ангелами охраняемый,
Цвет земли неувядаемый,
Персть, сияньем растворенная,
Глина, девством прокаленная, —
Плоть, рожденная сиять,
Тварь, до Бога вознесенная,
Диском солнца облаченная,
На серпе луны взнесенная,
Приснодевственная Мать.
Ты покров природы тварной,
Свет во мраке, пламень зарный
Путеводного столба!
В грозный час, когда над нами,
Над забытыми гробами
Протрубит труба,
В час великий, в час возмездья,
В горький час, когда созвездья
С неба упадут,
И земля между мирами,
Извергаясь пламенами,
Предстанет на Суд,
В час, когда вся плоть проснется,
Чрево смерти содрогнется
(Солнце мраком обернется),
И как книга развернется

Небо надвое,
И разверзнется пучина,
И раздастся голос Сына:
«О, племя упрямое!
Я стучал – вы не открыли,
Жаждал – вы не напоили,
Я алкал – не накормили,
Я был наг – вы не одели...»
И тогда ответишь Ты:
«Я одела, Я кормила,
Чресла Богу растворила,
Плотью нищий дух покрыла,
Солнце мира приютила
В чреве темноты...»
В час последний в тьме крошечной
Над своей землею грешной
Ты расстелишь плат:
Надо всеми, кто ошую,
Кто во славе одесную
Агнцу предстоят.
Чтоб не сгинул ни единый
Ком пронзенной духом глины,
Без изъята – навсегда,
И удержишь руку Сына
От последнего проклятья
Безвозвратного Суда.

1919

Тварь ***Отрывок***

А медведь вот Серафиму служит...
Радуйся! Чего нам унывать,
Коли нам лесные звери служат?
Не для зверя, а для человека
Бог сходил на землю. Зверь же раньше
Человека в Нем Христа узнал.
Бык с ослом у яслей Вифлеемских
До волхвов Младенцу поклонились.
Не рабом, а братом человеку
Создан зверь. Он приклонился долу,
Дабы людям дать подняться к Богу.
Зверь живет в сознание омраченном,
Дабы человек мог видеть ясно.
Зверь на нас взирает с упованием,
Как на Божиих сынов. И звери
Веруют и жаждут воскресенья...
Покорилась тварь не добровольно,
Но по воле покорившего, в надежде
Обрести через него свободу.
Тварь стенает, мучится и ищет
У сынов Господних откровенья,
Со смиреньем кротким принимая
Весь устав жестокий человека.
Человек над тварями поставлен
И за них ответит перед Богом:
Велика вина его пред зверем,
Пред домашней тварью особенно.

1929

Николай Лесков (1831–1895)

Неразменный рубль

Глава первая

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, то есть такой рубль, который, сколько раз его ни выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без одной отметины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожав кошку посильнее, так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль, – ни больше, ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда наконец этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный – то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и недостаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

Глава вторая

Раз, во время моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости... Сколько можно закупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые пряники – с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

– Какое? – спросил я.

– А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.

Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

Глава третья

Няня меня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

– Ну, вот тебе беспереводный рубль, – сказала она. – Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один, – совершенно один, – можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоём же кармане.

– Да, – говорю, – я уже все это знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

– Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, – его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведется в твоём кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность – твой рубль в то же мгновение исчезнет.

– О, – говорю, – бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

– Прекрасно, – сказала бабушка, – но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

– Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

– Очень рада, – посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян; помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

– В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

– О, моя милая бабушка, – отвечал я, – вам и не будет надобности давать мне советы, – я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно.

– В таком разе идем. – И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему позже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

Глава четвертая

Погода была хорошая, – умеренный морозец с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучей, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душой в общей гармонии, и... я посмотрел на бабушку...

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

– Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку и... мой неразменный рубль был в моем кармане.

«Ага, – подумал я, – теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее».

Глава пятая

Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по маленькому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сребел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки тоже преблагополучно оказался в моем кармане.

– Невесте идет принарядиться, – сказала бабушка, – это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, – от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу пленному теленку, который жил в одной избе со скотницею. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтыря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман – мой рубль был снова на своем месте.

Я стал покупать шире и больше, – я брал все, что, по моим соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные, – так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке – гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего, – на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

– Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили – как я умен, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

Глава шестая

А в это самое время, – откуда ни возьмись – ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

– Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С этим не шутка удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

– Да, если это будет вещь ненужная, – так я ее, разумеется, не куплю.

– Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других, но вот как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

– Я ничего не вижу в этом хорошего, – сказал я моему новому спутнику.

– Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, – за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новой книжкой. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

– И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

– Да, я это думаю, – отвечал пузан.

– Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! – воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал: – Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

Глава седьмая

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем, так что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

– Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

– Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

– Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, – вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится.

– Прекрасно, – отвечал я, – я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

– Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

– Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль,

потом снова опустил руку во второй раз, но... карман мой был пуст... Мой неразменный рубль уже не возвратился... он пропал... он исчез... его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и... проснулся...

Глава восьмая

Было утро; у моей кровати стояла бабушка, в ее большом белом чепце с рюшевыми мартками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.

– Что же, – сказала бабушка, – сон твой хорош, – особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль – по-моему, это талант, который Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распуттии четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль – это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих близких, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив – чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх теплого полушубка – есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что – очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоём сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стекляшки, и – рубль твой растаял. Этому так и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедem в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоём сновидении.

– Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

– Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета с стекловидными пуговицами.

– Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

– Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но... если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то... я тебя понимаю...

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это было мною сделано, то сердце мое исполнилось такой радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом – полное счастье, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своём нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.

1894

К. Р
(Константин Романов)
(1858–1915)

Царь Иудейский
Отрывок

На память мне приходит ночь одна
На родине моей. Об этой ночи
Ребенком малым слышала нередко
Я пастухов бесхитростную повесть.
Они ночную стражу содержали
У стада. Ангел им предстал; [и слава
Господня осияла их. И страх
Напал на пастухов. И ангел Божий,
Их ободряя, молвил им: «Не бойтесь!
Великую я возвещаю радость
И вам, и людям всей земли: родился
Спаситель вам. И вот вам знак: в пещере
Найдете вы Младенца в пеленах;
Он в яслях возлежит». И появилось
На небе много ангелов святых;
Они взывали: «Слава в вышних Богу,
Мир на земле, благоволение людям!»
И смолкло все, и в небе свет погас,
И ангел Божий отлетел.] По слову
Его они пошли и увидали
И ясли, и спеленатого в них
Прекрасного Младенца Иисуса,
И радостную Мать Его, Марию.

1912

«Когда, провидя близкую разлуку...»

Когда, провидя близкую разлуку,
Душа болит уныньем и тоской,
Я говорю, тебе сжимая руку:
Христос с тобой!

Когда в избытке счастья неземного
Забьется сердце радостью порой,
Тогда тебе я повторяю снова:
Христос с тобой!

А если грусть, печаль и огорченье
Твоей владеют робкою душой,
Тогда тебе твержу я в утешенье:
Христос с тобой!

Любя, надеясь, кротко и смиренно
Свершай, о друг, ты этот путь земной
И веруй, что всегда и неизменно
Христос с тобой!

7 января 1886. С.-Петербург

Сельма Оттилия Лувиса Лагерлёф (1858–1940)

Святая ночь

Когда мне было пять лет, меня постигло большое горе. Я не знаю, испытала ли я впоследствии горе большее, чем тогда. У меня умерла бабушка. До того времени она каждый день сидела на угловом диване в своей комнате и рассказывала чудные вещи.

Я не помню бабушку иной, как сидящей на своем диване и рассказывающей с утра до ночи нам, детям, притаившимся и смирно сидящим возле нее; мы боялись проронить хоть слово из рассказов бабушки. Это была очаровательная жизнь! Не было детей более счастливых, чем мы.

Я смутно помню образ бабушки. Помню, что у нее были прекрасные, белые как мел волосы, что была она очень сгорбленна и постоянно вязала свой чулок.

Еще помню, что, когда бабушка кончала рассказ, она клала свою руку мне на голову и говорила:

«И все это такая же правда, как то, что я тебя вижу, а ты меня».

Помню, что бабушка умела петь красивые песни; но пела их бабушка не каждый день. В одной из этих песен говорилось о каком-то рыцаре и морской деве, к этой песне был припев: «Как холодно веет ветер, как холодно веет ветер по широкому морю».

Вспоминаю я маленькую молитву, которой научила меня бабушка, и стихи псалма.

О всех рассказах бабушки сохранилось у меня лишь слабое, неясное воспоминание. Только один из них помню я так хорошо, что могу рассказать. Это – маленький рассказ о Рождестве Христовом.

Вот почти все, что у меня сохранилось в памяти о бабушке; но лучше всего я помню горе, которое меня охватило, когда она умерла. Я помню то утро, когда угловой диван остался пустым, и было невозможно себе представить, как провести длинный день. Это помню я хорошо и никогда не забуду. Нас, детей, привели, чтобы проститься с умершей. Нам было страшно поцеловать мертвую руку; но кто-то сказал нам, что последний раз мы можем поблагодарить бабушку за все радости, которые она нам доставляла.

Помню, как ушли сказания и песни из нашего дома, заколоченные в длинный черный гроб, и никогда не вернулись. Помню, как что-то исчезло из жизни. Будто закрылась дверь в прекрасный волшебный мир, доступ в который нам был до того совершенно свободен. С тех пор не стало никого, кто смог бы снова открыть эту дверь.

Помню, что пришлось нам, детям, учиться играть в куклы и другие игрушки, как играют все дети, и постепенно мы научились и привыкли к ним. Могло показаться, что заменили нам новые забавы бабушку, что забыли мы ее. Но и сегодня, через сорок лет, в то время как разбираю я сказания о Христе, собранные и слышанные мною в далекой чужой стране, в моей памяти живо встает маленький рассказ о Рождестве Христовом, слышанный мной от бабушки. И мне приятно еще раз его рассказать...

* * *

Это было в Рождественский сочельник. Все уехали в церковь, кроме бабушки и меня. Я думаю, что мы вдвоем были одни во всем доме; только мы с бабушкой не смогли поехать со всеми, потому что она была слишком стара, а я слишком мала. Обе мы были огорчены, что не услышим рождественских песнопений и не увидим священных огней.

Когда усьелись мы, одинокие, на бабушкином диване, бабушка начала рассказывать:

«Однажды глубокой ночью человек пошел искать огня. Он ходил от одного дома к другому и стучался.

– Добрые люди, помогите мне, – говорил он. – Дайте мне горячих углей, чтобы развести огонь: мне нужно согреть только что родившегося Младенца и Его Мать. Ночь была глубокая, все люди спали, и никто ему не отвечал. Человек шел все дальше и дальше. Наконец увидел он вдали огонек. Он направился к нему и увидел, что это – костер. Множество белых овец лежало вокруг костра; овцы спали, их сторожил старый пастух. Человек, искавший огня, подошел к стаду; три огромные собаки, лежавшие у ног пастуха, вскочили, заслыша чужие шаги; они раскрыли свои широкие пасти, как будто хотели лаять, но звук лая не нарушил ночной тишины. Человек увидел, как шерсть поднялась на спинах собак, как засверкали в темноте острые зубы ослепительной белизны и собаки бросились на него. Одна из них схватила его за ногу, другая – за руку, третья вцепилась ему в горло; но зубы и челюсти не слушались собак, они не смогли укусить незнакомца и не причинили ему ни малейшего вреда.

Человек хотел подойти к костру, чтобы взять огня. Но овцы лежали так близко одна к другой, что спины их соприкасались и он не мог дальше идти вперед. Тогда человек взобрался на спины животных и пошел по ним к огню. И ни одна овца не проснулась и не пошевелилась».

До сих пор я, не перебивая, слушала рассказ бабушки, но тут я не могла удержаться, чтобы не спросить:

– Почему не пошевелились овцы? – спросила я бабушку.

– Это ты узнаешь немного погодя, – ответила бабушка и продолжала рассказ:

«Когда человек подошел к огню, заметил его пастух. Это был старый, угрюмый человек, который был жесток и суров ко всем людям. Завидя чужого человека, он схватил длинную, остроконечную палку, которой гонял свое стадо, и с силой бросил ее в незнакомца. Палка полетела прямо на человека, но, не коснувшись его, повернула в сторону и упала где-то далеко в поле».

В этом месте я снова перебила бабушку:

– Бабушка, почему палка не ударила человека? – спросила я; но бабушка мне ничего не ответила и продолжала свой рассказ:

«Человек подошел к пастуху и сказал ему:

– Добрый друг! Помоги мне, дай мне немного огня. Только что родился Младенец; мне надо развести огонь, чтобы согреть Малютку и Его Мать.

Пастух охотнее всего отказал бы незнакомцу. Но когда он вспомнил, что собаки не смогли укусить этого человека, что овцы не разбежались перед ним и палка не попала в него, как будто не захотела ему повредить, пастуху стало жутко и он не осмелился отказать незнакомцу в его просьбе.

– Возьми, сколько тебе надо, – сказал он человеку.

Но огонь уже почти потух. Сучья и ветки давно сгорели, оставались лишь кроваво-красные уголья, и человек с заботой и недоумением думал о том, в чем донести ему горячие уголья.

Заметя затруднение незнакомца, пастух еще раз повторил ему:

– Возьми, сколько тебе надо!

Он с злорадством думал, что человек не сможет взять огня. Но незнакомец нагнулся, голыми руками достал из пепла горячих углей и положил их в край своего плаща. И уголья не только не обожгли ему руки, когда он их доставал, но не прожгли и плаща, и незнакомец пошел спокойно назад, как будто нес в плаще не горячие уголья, а орехи или яблоки».

Тут снова не могла я удержаться, чтобы не спросить:

– Бабушка! Почему не обожгли уголья человека и не прожгли ему плащ?

– Ты скоро это узнаешь, – ответила бабушка и стала рассказывать дальше:

«Старый, угрюмый, злой пастух был поражен всем, что пришлось ему увидеть.

– Что это за ночь, – спрашивал он сам себя, – в которую собаки не кусаются, овцы не пугаются, палка не ударяет и огонь не жжет?

Он окликнул незнакомца и спросил его:

– Что сегодня за чудесная ночь? И почему животные и предметы оказывают тебе милосердие?

– Я не могу тебе этого сказать, если ты сам не увидишь, – ответил незнакомец и пошел своей дорогой, торопясь развести огонь, чтобы согреть Мать и Младенца.

Но пастух не хотел терять его из вида, пока не узнает, что все это значит. Он встал и пошел за незнакомцем, и дошел до его жилища.

Тут увидел пастух, что человек этот жил не в доме и даже не в хижине, а в пещере под скалой; стены пещеры были голы, из камня, и от них шел сильный холод. Тут лежали Мать и Дитя.

Хотя пастух был черствым, суровым человеком, но ему стало жаль невинного Младенца, который мог замерзнуть в каменистой пещере, и старик решил помочь Ему. Он снял с плеча мешок, развязал его, вынул мягкую, теплую пушистую овечью шкурку и передал ее незнакомцу, чтобы завернуть в нее Младенца.

Но в тот же миг, когда показал пастух, что и он может быть милосердным, открылись у него глаза и уши, и он увидел то, чего раньше не мог видеть, и услышал то, чего раньше не мог слышать. Он увидел, что пещеру окружают множество ангелов с серебряными крыльями и в белоснежных одеждах. Все они держат в руках арфы и громко поют, славословя родившегося в эту ночь Спасителя Мира, Который освободит людей от греха и смерти.

Тогда понял пастух, почему все животные и предметы в эту ночь были так добры и милосердны, что не хотели никому причинить вреда. Ангелы были всюду; они окружали Младенца, сидели на горе, парили под небесами. Всюду было ликование и веселье, пение и музыка; темная ночь сверкала теперь множеством небесных огней, светилась ярким светом, исходящим от ослепительных одежд ангелов. И все это увидел и услышал пастух в ту чудесную ночь, и так был рад, что открылись глаза и уши его, что упал на колени и благодарил Бога».

Тут бабушка вздохнула и сказала:

– То, что увидел тогда пастух, могли бы и мы увидеть, потому что ангелы каждую рождественскую ночь летают над землею и славословят Спасителя, но если бы мы были достойны этого.

И бабушка положила свою руку мне на голову и сказала:

– Заметь себе, что все это такая же правда, как то, что я тебя вижу, а ты меня.

Ни свечи, ни лампы, ни солнце, ни луна не помогут человеку: только чистое сердце открывает очи, которыми может человек наслаждаться лицезрением красоты небесной.

1904

Сергей Есенин (1895–1925)

Певущий зов

Радуйтесь!
Земля предстала
Новой купели!
Догорели
Синие метели,
И змея потеряла
Жало.

О Родина,
Мое русское поле,
И вы, сыновья ее,
Остановившие
На частоколе
Луну и солнце, —
Хвалите Бога!

В мужичьих яслях
Родилось пламя
К миру всего мира!
Новый Назарет
Перед вами.
Уже славят пастыри
Его утро.
Свет за горами...

Сгинь ты, английское юдо,
Расплещися по морям!
Наше северное чудо
Не постичь твоим сынам!

Не познать тебе Фавора,
Не расслышать тайный зов!
Отуманенного взора
На устах твоих покров.

Все упрямей, все напрасней
Ловит рот твой темноту.
Нет, не дашь ты правды в яслях
Твоему сказать Христу!

Но знайте,
Спящие глубоко:
Она загорелась,
Звезда Востока!
Не погасить ее Ироду
Кровью младенцев...

«Пляши, Саломея, пляши!»
Твои ноги легки и крылаты.
Целуй ты уста без души, —
Но близок твой час расплаты!

Уже встал Иоанн,
Изможденный от ран,
Поднял с земли
Отрубленную голову,

И снова гремят
Его уста,
Снова грозят
Содому:
«Опомнитесь!»

Люди, братья мои люди,
Где вы? Отзовитесь!
Ты не нужен мне, бесстрашный,
Кровожадный витязь.

Не хочу твоей победы,
Дани мне не надо!
Все мы – яблони и вишни
Голубого сада.

Все мы – гроздья винограда
Золотого лета,
До кончины всем нам хватит
И тепла, и света!

Кто-то мудрый, несказанный,
Все себе подобя,
Всех живущих греет песней,
Мертвых – сном во гробе.

Кто-то учит нас и просит
Постигать и мерить.
Не губить пришли мы в мире,
А любить и верить!

1917

«То не тучи бродят за овином...»

То не тучи бродят за овином
И не холод.
Замесила Божья Матерь Сыну
Колоб.
Всякой снадобью Она поила жито
В масле.
Испекла и положила тихо
В ясли.
Заигрался в радости Младенец,
Пал в дрему,
Уронил Он колоб золоченый
На солому.
Покатился колоб за ворота
Рожью.
Замутили слезы душу голубую
Божью.
Говорила Божья Матерь Сыну
Советы:
«Ты не плачь, мой лебеденочек,
Не сетуй.
На земле все люди человеки,
Чада.
Хоть одну им малую забаву
Надо.
Жутко им меж темных
Перелесиц,
Назвала я этот колоб —
Месяц».

1916

«О Матерь Божья...»

О Матерь Божья,
Спади звездой
На бездорожье,
В овраг глухой.

Пролей, как масло,
Власа луны
В мужичьи ясли
Моей страны.

Срок ночи долог.
В них спит Твой Сын
Спусти, как полог,
Зарю на синь.

Окинь улыбкой
Мирскую весь
И солнце зыбкой
К кустам привесь.

И да взыграет
В ней, слава день,
Земного рая
Святой Младень.

1917

Антон Чехов (1860–1904)

Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Выюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки.

Этот Выюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, шурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

– Табачку нешто нам понюхать? – говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

– Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Выюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посребренные инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потеряли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать: «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеваются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин

бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в снях, а когда ребяенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай Божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – Богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пускают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто каждое... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченный орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед кричал, и мороз кричал, а глядя на них, и Ванька кричал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может чтоб не крикнуть:

– Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадрили. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька, – Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А наемдни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропавшая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

«На деревню дедушке».

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубаше выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

1886

Мальчики

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую. – Ах, Боже мой!

Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!» Мать и тетка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

– А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи Боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец, что ли?

– Гав! Гав! – ревел басом Милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Всё смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

– Володичка, а это же кто? – спросила шепотом мать.

– Ах! – спохватился Володя. – Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса... Я привез его с собой погостить у нас.

– Очень приятно, милости просим! – сказал радостно отец. – Извините, я по-домашнему, без сюртука... Пожалуйста! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи Боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекались тепло и мороз.

– Ну, вот скоро и Рождество! – говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. – А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожая? Ан ты и приехал... Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша – самой старшей из них было одиннадцать лет, – сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за

чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

– А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбежала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

– Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

– Господи Боже мой, даже ножниц не дают! – отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

– Сначала в Пермь... – тихо говорил Чечевицын, – оттуда в Тюмень... потом Томск... потом... потом... в Камчатку... Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив... Вот тебе и Америка... Тут много пушных зверей.

– А Калифорния? – спросил Володя.

– Калифорния ниже... Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

– Вы читали Майн Рида?

– Нет, не читала... Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:

– Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

– А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

– А что это такое?

– Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

– Господин Чечевицын.

– Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:

– А у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, – все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали!

Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже всё готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю – «бледнолицый брат мой».

– Ты смотри же, не говори маме, – сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. – Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

– Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

– Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу. Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.

– Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын. – Говори: не поедешь?

– Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне маму жалко.

– Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедem! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

– Я... я не струсил, а мне... мне маму жалко.

– Ты говори: поедешь или нет?

– Я поеду, только... только погоди. Мне хочется дома пожить.

– В таком случае я сам поеду! – решил Чечевицын. – И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

– Так ты не поедешь? – еще раз спросил Чечевицын.

– По... поеду.

– Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:

– Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику – там их не было. Послали в деревню – и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда сажались ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где продается порох). Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

– Разве это так можно? – убеждал папаша. – Не дай Бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно! Вы где ночевали?

– На вокзале! – гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:

«Монтигомо Ястребиный Коготь».

1887

Вильгельм Кюхельбекер (1797–1846)

Рождество

Сей малый мир пред оными мирами,
Которые бесчисленной толпой
Парят и блещут в тверди голубой,
Одна пылинка; мы же – что мы сами?
Но солнцев сонм, катящихся над нами,
Вовеки на весах любви святой
Не взвесит ни одной души живой;
Не Весит вечный нашими весами.
Ничто вселенна пред ее Творцом;
Вещал же так Творец и Царь вселенной:
«Сынов Адама буду Я Отцом;
Избавлю род их, смертью уловленный, —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.